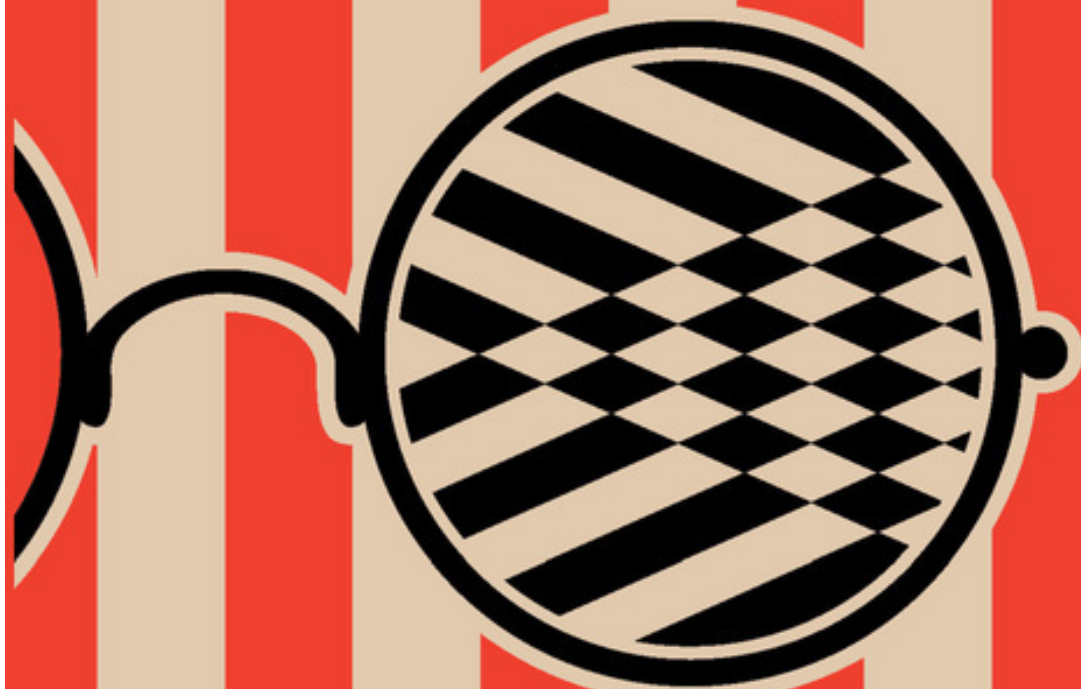


Григорий Ряжский

МУЗЕЙНЫЙ



РОМАН

Азбука-бестселлер

Григорий Рязский
Музейный роман

«Азбука-Аттикус»

2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Ряжский Г. В.

Музейный роман / Г. В. Ряжский — «Азбука-Аттикус»,
2016 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-11828-7

Свою новую книгу, «Музейный роман», по счёту уже пятнадцатую, Григорий Ряжский рассматривает как личный эксперимент, как опыт написания романа в необычном для себя, литературно-криминальном, жанре, определяемым самим автором как «культурный детектив». Здесь есть тайна, есть преступление, сыщик, вернее, сыщица, есть расследование, есть наказание. Но, конечно, это больше чем детектив. Известному московскому искусствоведу, специалисту по русскому авангарду, Льву Арсеньевичу Алабину поступает лестное предложение войти в комиссию по обмену знаменитого собрания рисунков мастеров европейской живописи, вывезенного в 1945 году из поверженной Германии, на коллекцию работ русских авангардистов, похищенную немцами во время войны из провинциальных музеев СССР. В связи с этим в Музее живописи и искусства, где рисунки хранились до сего времени, готовится большая выставка, но неожиданно музейная смотрительница обнаруживает, что часть рисунков – подделка. Тогда-то и начинается детектив. Впрочем, преступник в нём обречён заранее, ведь смотрительница, обнаружившая подделку, обладает удивительным даром – она способна предвидеть будущее и общается с призраками умерших...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-11828-7

© Рязский Г. В., 2016

© Азбука-Аттикус, 2016

Содержание

Пролог	7
Глава 1	10
Глава 2	27
Глава 3	40
Глава 4	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Григорий Ряжский

Музейный роман

© Г. Ряжский, 2016

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

*Когда караван поворачивает обратно, хромя верблюдица
оказывается впереди.*

Из восточной мудрости

Пролог

«Милейший друг мой Микола Васильевич! Пользую оказию сию для доставки к вам записки моей с вашим, как и моим, другом любезным князем Воропаевским. Нынче поутру посетил он мою художественную мастерскую, оказав мне славную честь обозреть часть эскизов из числа работою завершённых. Сообчу не без удовольствия, что приятно порадовал он и одобрительными в мой скромный адрес словами, попутно чему ещё и сделал крайне сподручным для меня сей способ очередного сношения с вами, друг сердешный, с тем, чтоб лишний раз напомнить об встрече нашей у меня же в пятницу 15-го числа. Полагаю, сие позирование станет числом из наипоследнейших, ибо осталось прописать мне лишь отдельные фрагментарии от лица вашего да совершить сверку по теням.

Миколаюшко, дружок, здесь же не премину отблагодарить тебя и за прибытие третьего дня на общую композиционную поверку, какая учинялась мною на натурном уезде. Как ты, верно, сумеешь, друг мой добрый, полотно моё столь громадно величиною своею и содержанием в нём характеров ближнего и второго обозрения, что время от времени я попросту вынуждаюсь собирать своих натурщиков в единственно вероятный для меня сюжет, дабы всякий раз заверяться в композиционных и колористических верностях собственных решений. Одно утешает, коль уж брать на чистоту, – не так уж и значительна отдалённость избранного мною пленэра от места нашего с тобою Римского проживания. Искренно надеюсь, Миколаюшко, что прошлое утомление твоё в скорейшем времени возместится сполна званой пятницей, в какую намереваюсь я произвести дружеский приём по случаю окончания первостепенных эскизов. Впрочем, об времени точней дам тебе знать ближе к вечеру того же дни.

Да, и ещё об одном запятовал сообщить – о некоем прелюбопытнейшем, каковое имело случай быть того же дни присутствия твоего на прошлой натуре. Интересная девица, скажу тебе, к тому же не из зрелых, хоть и хромая на одну ногу, забрела тот раз на место наших с тобой художественных удовольствий – вот только не ведаю, приметил ли ты её иль нет вниманьем своим в том поистине удивительном происшествии, что имело место. Она, сдаётся мне, сослалась на тебя, в чём, право, далеко я не столь теперь уже уверен. Одета была не скажу, чтоб со странностью до срамного, однако ж речью своею немало удивила. Сам-то язык вполне себе русский, а только иного уклада, не столь ясного и привычного уху нашему с тобою, Микола.

Дальше – ещё загадочней. Просила повести её к Марио – натурщику, ты и сам помнишь, надеюсь, каков он, мой Христос. А теперь уже, полагаю, сам же я к нему её и повёл. Разговор желала иметь на предмет сокрытый ото всяких ушей. Скажу тебе, так иль нет, однако ж, как ни поспешали мы с нею, Марио моего так и не могли достичь. Право, чудно...

А после ещё и потемнело внезапно и молнией страшною оземьхватило. Марио, тот тоже стал как вкопанный, в даль всмотрелся и рукой нам указывает своею, что, мол, идите оба вы туда – на берег мой якобы Иорданский намекает,

где изгиб у реки имеется, далеко за деревом ивовым, иль каким там ещё у итальянцев этих наших, прости их Господи.

Идём, а ноги будто сами послушаются, подвигаются к месту тому, хоть и сырость настала уже, и заметно темно, а потом уж и вовсе с неба жутью пролило. Приближаемся, а там уж сам он, Марио, – как через воздух переступивший. И женщина лежит, верхней частью своею обгоревшая от удара молнии по ней, вблизи самой кромки воды. И видно, что убитая, безжизненная. А только шевелится из-под промокшей юбки живое что-то. Марио мой на неё указывает и намекает, что прими, мол, роды, Александр Андреевич, у тебя получится. Гляжу, а женщина та – брюхатая: дитя, видать, молнией этой из неё вышибло до времени.

Девушка моя, какую вёл за собой, – та замерла. Стоит, не пошевелится даже, лишь глазами одну точку высматривает, где умершая роженица лежит – головою в моём Иордане, ногами – к суше. И животом. И будто ноги меня сами к ней повели. А там уж головка, гляжу, вышла – да так, верно, и остановилась на мгновенье материной смерти. Руки к нему простираю, к малюсенькому этому, за головоньку мягкою с нежностью всею пальцами как умею уцепляюсь да осторожно так вытягиваю на себя, боясь какого-либо повреждения. Он и вышел весь, женского полу, девчоночка. Да как закричит во всё своё новорождённое, да заплачет. Я – на Марио, а он так и продолжает быть в отдалении, безмолвный и мирный. Светится будто по-неземному. Рукою своей на девушку хромую указывает – ей, мол, дитя передай. Я и передал. А та его к себе прижала да и тоже в голос заплакала. Стоит себе и реветь безуданно.

А тут и округа разом высветлилась. И Марио мой куда-то подевался, натурщик. Да и сам я, обернувшись, подле всех остальных натурщиков моих оказался вдруг, какие ожидали меня и звали. И дождь остановился. А Марио в тот день больше не было, без него композицию составлял и доканчивал. Исчез – и не знаю куда.

Миколушка! И как тебе повесть сия? Словно опился я тогда зельем неведомым или ж во сне побывал недолгом и чудном. Ну, чисто для тебя сочиненье, кабы я и по сей день не считал то самое случившимся воочию.

Засим прощаюсь и жду в пятницу у себя.

Твой верный товарищ и друг Александр.

Рим. Июля, 13-го числа, года 1844».

«Милый Саша, друг мой!

Желанье моё выказать согласие быть у тебя в пятницу столь глубоко, что, плюнув на нерасторопность римских почтмейстеров, сиим посланием об оном извещаю тебя с мальчиком-посыльным, приставленным по моей необходимости милейшим благодетелем нашим и добрым товарищем князем Воропаевским. Конечно ж, позированье моё, по твоим же словам, хоть и из крайних случится, но полагаюсь, и в этот раз оно окажет мне столь же непереносное удовольствие участием в великом из величайших полотен – а что делается оно именно таковым, колебаний в том не испытываю даже малейших. Что же до истории с чудаковатой девицей той, то она и впрямь чудная, кабы и не вовсе дивная. Надо сказать, я и сам успел перекинуться с нею же парой-другой слов, прежде чем направить к тебе как к распорядителю всего натурального действия. Однако ж я даже вообразить не мог при всей фантазийности ума моего, что событие это станет таким удивительным, тем

более, как ты излагаешь, и Марио наш заблудился в тот самый день по не менее малообъяснимым резонам.

Александр, душа моя! Как бы там ни было, повидаемся с тобою как замышлено, и ежели останется желание у обоих, то доберём историю сию в приятнейших пересудах наших и дружеских общеньях.

До встречи! Преданный тебе Микола Г.

Рим. Июля, 14-го числа, года 1844».

Глава 1

Лёва

Лёвка «Алабян», он же Лев Арсеньевич Алабин, прозвище своё обрел не случайно. К тому же некоторым особо старательным ревнивцам, как и нескольким равнодушным исследователям биографии Льва Арсеньевича, нравилось порой, находясь в кругу людей неслучайных, именовать его сомнительным словечком «Лейба». Знающие подобных ценителей не со стороны наверняка сказали бы, что это знак высшей признательности Лёвы-Лейбы как истинного умельца разрешать мирным вмешательством конфликты от малого до побольше в среде людей очень специальных. Сходились, как правило, вовлечённые в ближний круг знатоки-профессионалы со всякими прочими и остальными: от клиентов имущих до просто любопытствующих, изначально не имеющих жизненной нужды в том или ином приобретении художественной ценности.

Удачливость в делах рискованных, невзирая на явную одарённость в области исследования изящных искусств, Лёве неизменно удавалось подтверждать даже в те невыгодные для бизнеса промежутки, когда терпимо плохие времена окончательно переменялись, сделавшись необратимо отвратными. Надо сказать, эта шутейная армяно-юдофильская перекройка фамилии, хорошо известной в искусствоведческих кругах, изобретённая когда-то клиентами и друзьями, не звучала уничижительно, отнюдь нет. Наоборот, этот давно вошедший в привычку и укоренившийся в сознании ближайшего окружения безобидный бренд чаще говорил о нём лишь как о мастере, превосходно владеющем необходимым для профессионала инструментарием и способном, несмотря ни на какие свежие веянья, уверенно держаться на поверхности, устойчиво оставаясь спросовым и авторитетным спецом.

Спросовым Лёва больше значился по части чистой науки, отдавая должное русскому авангарду, всё ещё с энтузиазмом продолжая исследовать его и нередко публикуя статьи на излюбленную тему. Попутно успевал вести курс у себя на истфаке, где, будучи доцентом, преподавал последние пятнадцать лет. Там же на кафедре будущий педагог Алабин ещё в начале пути защитил превосходную диссертацию в области искусства и искусствоведения, тематически напрямую связанную всё с тем же почитаемым им авангардом. Называлась она «Основные художественно-проектные концепции авангарда на основе русского конструктивизма: истоки, идеи, практика».

В ту пору, когда он не поднимая головы работал над диссертацией, а по сути, над объёмной, на редкость высокого качества монографией, его всё ещё не отпускал неизлечимый восторг от того, с чем довелось столкнуться. Нет, не в той конкретной своей работе – много шире: вообще в жизни, по судьбе. Господи, ну скажи, ответь, что может быть прекрасней для начинающего, явно многообещающего искусствоведа, чем дать себе шанс взобраться пускай на невысокий, но уже самим себе назначенный пригорок и впиться оттуда пристальным взглядом, вобрать в себя, переварить в равнодушной серёдке, пропустить через молодые, злые, готовые трудиться сердце, печень и мозги, взглянуть на все его, конструктивизма, многообразные лики, вволю поразмышлять о его же концептуальных и пластических версиях, порой диаметрально противоположных, но во многом и единых, а заодно выявить, вычленив из свода набивших оскомину пустопорожних определений и фраз истинные трактовки «беспредметного искусства», искусства «как такового», отношения «предметное – беспредметное», ракурсы супрематизма, толкование «изобразительного искусства» и «все искусства». И вновь, освободив башку от груд бессчётно наработанного коллегами мусора, обратить взор не столько к творческим концепциям художников, сколько к их же мыслям о философии творчества, о широте, о гра-

ницах в искусстве – о самой Красоте, в конце концов. И чёрт бы побрал этих неумёх от профессии, людей без волчьего чутья, без щедрой интуиции и безошибочно верного глаза!

Как правило, заказывая Лёве ту или иную работу или оговаривая статью, уважаемый издатель, как и одноразовый заказчик, уже пребывал в курсе того, кому доверяет часть издаваемого сборника или предоставляет выигрышное пространство модного журнала. И Лёва не подводил, никогда. Работу делал в срок, всякий раз ухитряясь попутно втиснуть в заказанный объём то или другое от совершенно нового, свежего, самого-самого, непривычного устоявшегося взгляду на искусство: отчасти спорное, порой приносящее оттенок скандальности, но вместе с тем могущее независимо ни от чего существовать достойным образом. Скажем, в своей громкой статье о Малевиче Лев Алабин сделал осторожную, но вполне доказательную попытку опровергнуть общепринятое мнение о том, что художник мыслил свои супрематические «фигуры» как ничего не изображающие, не дублирующие действительность, но живущие по собственным законам. Всё как раз, по его мнению, было наоборот: Малевич копировал, быть может невольно, знаки материальной жизни, переводя их в личные символы, присваивая им номерную тождественность основных форм физического бытия. И в этом был смысл и суть его творений. Позднее, уже в ходе разгоревшейся на страницах печати дискуссии, немало разогревшей Лёвино художественное честолюбие, он опубликовал ещё одну работу, написанную вдогонку той, и в ней уже сдерживаться не стал, дав себе полную волю. Ловко и умно отстегав противников собственной версии, Алабин на этот раз высказался уже о Кандинском, утверждая, что никогда самотождественными субстанциями не являлись Василию Васильевичу формы его, как и не обретали они на его холстах самостоятельного существования. Не для чего, кстати, если уж речь зашла о великих, говорить в этом смысле и о Татлине с его контррельефами, суть которых, как считалось, в том, что они просто существуют, ничего не повторяя и никого не копируя, являя собой нечто целостное, самодостаточное – как результат акта творчества, и больше ничего.

«Да всё, всё не так, братцы мои...» – выдал тогда оппонентам Лев Арсеньевич и развил самого себя: ведь аскетизм художника вёл его к пониманию формы, и в этом они были последовательны, поскольку он не вредил им – по той причине, что были они искренни и свободны. Но этот же самый аскетизм, заведший в тупик многих остальных, как только был утрачен, сделался невыносимым лицемерием и ложью. Этого, по счастью, не произошло с тремя великими, но зато таковому во многом подверглись прочие, идущие вслед, но не успевшие зарядить себя пониманием того, что всякая гетерономия целей противоречит самой природе искусства, существуя лишь в атмосфере свободы и бескорыстия.

После тех трёх своих громких работ Алабин, уставший отзываться на заманки гламурных и художественных изданий, попросту перешёл в разряд видных экспертов в области художественного знания. Вскоре Лёвина подпись на экспертном заключении сделалась не то чтобы золотой, но вполне весомой в кругу людей, нуждающихся в атрибуции, и позволяющей обойти путь легального узаконивания той или иной вещи.

Мало-помалу потекли деньги: оттуда, отсюда, а то и просто так, в виде так никогда и не отработанного аванса. Подобное случалось, и нередко, особенно когда наниматель неизвестным образом внезапно исчезал из поля зрения эксперта Алабина и не давал знать о себе годами. После выяснялось: отбывал срок в конкретных местах либо прятался от правосудного наказания, и не обязательно за дела, где у него имелась надобность в профессиональных Лёвиных услугах.

И снова Лёва стал публиковаться: уже прицельно, избегая в этом смысле работы мало-нужной, а заодно не приводящей к осязательному материальному результату. К тому времени Лев Арсеньевич, общепризнанно обладавший врождёнными регуляторами вкуса, уже без видимых усилий и в короткие сроки научился безошибочно избегать даже малой желтухи от искусства в какой бы то ни было своей работе. Выдавал и удивлялся самому себе – ровно так, как некогда

изумлялся собственной отчаянной смелости взобраться на тот непростой пригорок и малопомалу вершить оттуда личное художественное правосудие.

А ещё его любили, хотя и не до обморока, но многие, и не только за ловкость и быстроту мозгов. И это никак не касалось профессионального общения с ним как с искусствоведам. Просто был он желанным, делаясь приятным почти всякому собеседнику в первые же минуты появления на обществе. Гусарского кроя человеческий типаж Льва Арсеньевича вкупе с трезвой, лёгкой и, по обыкновению, весёлой головой, с характером игривым, чуть-чуть хулиганским, чуждым занудству и далёким от зазнайства, многими почитаем был не только благодаря конкретным жизненным успехам, но и за сумевшую остаться неподпорченной репутацию знатока своего далеко не азбучного дела.

И потому Лёву хотели все. Бабы – особенно. С ними, впрочем, была отдельная история, поскольку жениться по-настоящему, честно, со страстной любовью и обещаниями вечности Лёве так и не довелось. Случайные же парные соединения, от вовсе фрагментарных до отвлекающих мысли не более чем на пару-тройку месяцев, никак не могли считаться памятными, оставившими зарубку на теле или же заметно оттянувшими душу от текущих забот. И потому не шли в зачёт. Однако это вовсе не означало, что Алабин недолюбливал женщин как класс. Всё было как раз наоборот. Вполне любя их и нередко по-своему обожая, Лёва ценил в женщинах незаменимо тонкое душевное устройство и потому постоянно выбирал. Долго, тщательно, с милыми капризами и заморочками, о которых не рассказывал никому. Лёгкость и животрепетность характера искусствоведа Алабина в такие сокрытые ото всякой живой души моменты полностью оставляли его, невидимо усачиваясь в тревожный и зыбкий песок. Порой наваливалась тупая усталость, и жуткое недовольство собой подчас заставляло Льва Арсеньевича обращаться за утешением к вискарю, всегда имевшемуся наготове и будто чувствовавшему в нужный момент неустойчивое настроение хозяина. Это и было той самой компенсаторикой, что по Фрейду, хотя и не признаваемой им же самим в минуты сладкие, восторженно-окрылённые, досыта накормленные удачами в так ловко сконструированной им замечательно удобной жизни. Однако она же и часто тянула в никуда, в неглубокую, но всё же пропасть, в безнадёгу бессмысленного существования, где мало кому и чего по большому счёту было надо и много от кого, из числа нехороших, недобрых и нечистых на руку людей, в немалой степени зависело его конкретное жизненное преуспеяние.

Иногда это огорчало не просто, а очень. Именно в такие минуты и дни душа алабинская требовала женщину не на час и не два. И он уступал, идя навстречу телесному гону затюканной своей нутрянки, и каждый раз по завершении очередного экзистенциального приступа честно вносил такое намерение в перечень предстоящих дел. Но как назло, всякий раз намерение это ждал непредвиденный облом: то откуда ни возмись возникал купец с весьма жёстко сформулированным предложением немедленно отсмотреть выдуренную в хитром месте скульптурную работу Антонио Кановы: классицизм, белый мрамор, высота 35 см, мужская голова – резанная по ключицы – так и сказал, такими словами, – античная, мол, штуковина. А если без дураков, то сдёрнутая по случаю из самой Академии Св. Луки и вывезенная из Рима парохомом, паровозом, самолётом, дипкурьером – не важно. И всё – план непоправимо менялся: бросать дела основного перечня, игнорируя весь этот избыточный головняк, седлать «мерина», нестись на встречу, проводить персональную экспертизу, проговаривать слова, предполагающие ответку, получать расчёт на месте, после чего до конца физической жизни личным здоровьем отвечать за вынесенный вердикт. Это если не брать в расчёт возможной материальной ответственности, которая, если что, растянется до того же самого конца.

А то и иное подоспеет, ещё более занятное, хотя сто́ит и не так против «купеческого». Заказ, скажем, на реставрацию чего-нибудь эдакого от века восемнадцатого, девятнадцатого – всего лишь пристроить к проверенным людям, которые надёжно в теме – и насчёт тонкостей самой работы со всеми нужными делу нюансами, и в смысле умения привинтить язык к

нёбу так, чтобы разучился шевелиться, когда не нужно, ну и проследить, само собой, чтоб не кинули, не подменили. Атрибуция-то, ежели ей быть как должно, – честь по чести, не сходящая предмета от злых людей, которые не в доле, описание там... техника, размеры, авторство и, возможно, провенанс ¹ – в особо тяжёлых случаях, где на кону уже не просто миллионы, – так она просто-напросто невозможна по определению, в силу тех же самых криминально окрашенных резонансов. И потому остаётся – кто? Остаётся спец, мастер, авторитетный человек с именем, за которым не придётся бегать и подчищать – в правильном, разумеется, смысле, в творческом. Он и остаётся, Лев Арсеньевич Алабин, хороший человек именно с таким, как нужно, подходящим делу именем.

Имелось ещё одно направление в делах Льва Алабина, не менее бюджетоемкое в сравнении с остальными, но как нельзя более опасное. Тут уж требовалась осторожность тончайшая, доводочная и великий, великий опыт подобных предприятий.

Началось как-то само, почти незаметно, считай самотёком. Купил, прогуливаясь по парижской блошинке, пару чердачных работ – гравюру и карандашный рисунок, за полсотни копеечных французских франков, у никакой бабульки, случайной, как и сам в качестве начинающего добросовестного приобретателя. «Чердачных» – поскольку знал уже, что стекаются по выходным в это привычное многим место залежалые тётеньки и дяденьки преклонных годов, которые, перебирая порой на замусоренных чердаках наследную рухлядь, плесневеющую в фамильных сундуках и причудливых баулах, нередко натываются на неизвестное, не виденное раньше. Эти бесконечные пыльные папки, от коленкоровых, податливо-мягких, ещё не окончательно источенных безжалостной молю времён, до кожаных, с бронзовыми вензелями на мягчайшей лицевой корке, веками поедаемых чердачным червём, но так и не изничтоженных до конца. А ещё – картонные и папье-маше, каких обильное множество: самые незатейливые, без знаков различия, без исторических погон, стянутые остатками не дожранной древесной личинкой льняной тесьмы. Какие – раздуты обильностью семейной летописи, какие – наоборот, толщиной лишь с воздух, зажатый меж верхом и низом, не более того. И наконец, если гулять по бумажной части – фотографии, с вуалью разводов по центру и краям медленно убиваемого старостью картона, с ретушью и без неё, ломкие, с загибом невосвратно усохших краешков, задранных вбок и вверх, коль уж остались когда-то без рамки и семейного пригляда. И лица, лица на них бесконечные, в которые поверишь, что были и жили, разве что сопоставив изображения с описанием, сокрытым, прячущимся в связках старинных писем, что перепоясаны выцветшими до седоватой мути ленточками гниловатого, пахнущего пылью и распавшегося волокном китайского шёлка. Тут же редкие, не сразу улавливаемые зрением осколки тонкого стекла, хрустящие под ногами; ну а дальше – в свободном незатейливом порядке – прочее, из чего произрастала когда-то, складывалась чья-то жизнь, наполняясь нужными мелочами и милыми пустяками. Вот перевёрнутая бронзовая вазочка, чуть подмятая в основании, валяется в тёмном отдалении чердачного пространства, куда почти не добивает тусклый свет от небольшого слухового оконца. Другого света нет – накладно, да и некстати он здесь, незачем уже, всё когда-то нужное и кому-то дорогое отжито и забыто, списано, оставлено усыхать, влажнеть и вновь усыхать, вымирая от голода, тьмы или жажды – без разницы. Дальше – из мебели, из габаритного наследства, овеществлённые остатки всё той же затхлой памяти, необратимо порушенной отсутствием всякой в ней надобности. Перевёрнутый стол – и никто и никогда уже не поставит его как надо: скорее вынесут во двор, на вывоз, или же поищут иного применения, поломав и разделив на каминную лучину. И никто не задумается более, из чего был он сотворён: то ли дуб морёный, то ли вдруг окажется палисандр, никем не разведанный, так бездарно утративший собственную родословную за время, пока жильцы умирали, рожали

¹ *Провенанс* – история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение. (Примеч. ред.)

новых владельцев или же просто, съезжая с жилой площади, оставляли прошлое имущество новым проживающим.

Как-то случаем довелось попасть на один из таких чердаков парижской окраины: просто вежливо испросил у хозяев пустяковой вольности порыться в чердачной рухляди в поисках исторических артефактов и материальных примет эпохи, о чём в то время якобы собирался писать. До того момента они приятно выпили кальвадосу, все вместе, по-товарищески. И было всем им хорошо, особенно принимая во внимание беглый Лёвин французский. А ещё потому, что не успел пока забыть, как, вернувшись домой из прошлого вояжа во французскую столицу, удачно реализовал те две случайно срубленные на блошинке бабушкины вещицы. Получилось даже выше самых отчаянных его ожиданий, хотя и не по-одинаковому карта легла. Первую работу, тончайшего карандаша морской пейзаж, с великолепно проработанными волнами и не менее тщательно выполненным маяком, он отдал за какие-то безумные деньги, выдав её за карандашный рисунок неизвестного художника восемнадцатого века, примыкавшего к одному из направлений старинной фламандской школы. Именно это и сказал – так, казалось ему, прозвучит убедительней. Правда, знал, с кем имеет дело: тот бы по-любому не стал проверять, сразу б захоронил в специально оборудованном месте, имея в виду ясную цель встретить скорое будущее во всеоружии. Ну или, по крайней мере, детям встретить доведётся, коли уж не успеется самому.

Всё, абсолютно всё было непроверяемо, поскольку ни дат, ни подписи на работе не имелось, и это было чудесно, в этом присутствовала вольность действий и цельность результата. Имя Лёвино в ту пору ещё не работало достаточно, но сама профессия, как и неоспоримый факт доцентства в Университете, тоже кой-чего стоили. К тому же доцент Алабин пояснил, что этот неизвестный фламандец из прошлых веков практически гениален и наверняка, судя по качеству этой работы, примыкал к школе и даже к самой мастерской великого Рубенса. Иными словами, приходится пускай заочно, но говорить, скорее всего, об авторстве Яна ван Гойена или как минимум Клааса Берхема. Кстати, сам-то он, если взять, скажем, Берхема, и в Эрмитаже имеется, «Итальянский дворик» работа называется, так что при случае можно сходить зарядиться духом его, схожестью манеры, гениальностью карандаша. «Дворик» этот, как помнилось Алабину, был писан маслом, но это не помешало Лёве, будучи уверенным, что на этом сделка завершится прижизненной похоронкой, упомянуть того в качестве рисовальщика. Так уж само на язык легло в тот момент.

Финал успешного плацебо такого масштаба он на всякий случай прикрыл скороговоркой, составленной из сведений, дополнительно усиливающих эффект удачного приобретения этого почти что шедевра. А именно: данный рисунок имеет неплохой, ко всему прочему, провенанс, зафиксированный исторической наукой, поскольку он доказательно пришёл из собрания миллионера-купца Рюмина, принесшего в 1873 году в дар Румянцевскому музею более двух тысяч работ – гравюр и рисунков старых европейских мастеров. И этот в их числе, само собой.

Так вот, порылся он в тот день на дружеском чердаке. И до этого ему, как запомнилось, уже было хорошо, но стало ещё лучше, когда, выветив фонариком проход от кучи хлама до убитого стула с выкрошенным маркетри, он обнаружил в углу заваленную набор литую, совершенной ажурной работы этажерку с разноцветными витражами эпохи модерна, неброско инкрустированную пластинками перламутра. Чистый ар-нуво. Нагнулся, выветил вновь фонарным лучом, вчитался, перевёл. Оказался – сам он, лично, да ещё с клеймом – Луи Мажорель, начало двадцатого века, изделие собственной мастерской, явно штучное, авторское, раз с личным тавром мастера. Так и ушёл с ней, закинув на плечо и кряхтя под весом изделия, объяснив бывшим владельцам, что вечно не достаёт до верхней полки в квартире, какую временно арендовал, а там – книги, так он вместо высокой табуретки использует её, если можно. Ну не стол же двигать, да? А те и не собирались вдумываться да всматриваться. Одно слово, легкомысленные французики.

В Москву вещь доставил тоже по дурке, открытым багажом, обернув покупку дармово прихваченным всё на той же блошинке клетчатым пледом и упаковав на вылете в плёнку. По прилёте в считанные дни выискал купца, знатока и истинного ценителя. Даже дурманить того не пришлось. Всё и так было настолько замечательно честным, к тому же, считай, в идеальном состоянии, что не понадобилось тащить и в реставрацию, где к тому моменту у Лёвы уже завелись правильные мастера, мебельщики-краснодеревщики, стеклянщики и прочая железарня: реставраторы не от сохи, имевшие опыт работы и устоявшуюся традицию не куковать лишнего, если специально не попросят.

Тому же грамотному купцу вполне приличным довеском ушла и дожидавшая своего часа блошинная бабушкина гравюра. В отличие от давно пристроенного рисованного собрата та уже действительно была подписной, хотя закорючка внизу справа выглядела неразборчиво и сама по себе мало о чём говорила. Однако всё ж сошлись на цене вполне интересной, хотя и не самой богатой, не музейной, – чтоб просто излишне не хаметь и продолжать чувствовать себя достойно равными каждый на своём приятно воровском поле.

Годом раньше Алабин по доброй наводке притащил туда же фужерный комплект под вино, екатерининского стекла, на шесть персон, двенадцать предметов, – подновить, наполировать, задурнить, если понадобится, лёгкие сколы, освежить фальшивой позолотой царские вензеля. Ушло – оттуда же, из мастерской, само. Просто зашли люди, не со стороны, отслеживающие интересные вещи, и предложили цену. Мастера-реставраторы связались с Лёвой – тот накинул десятую часть и дал добро. Отбил вложенное и наварил вшестеро – по сто процентов за каждую царскую персону. И тут же пришла идея, которую доцент Алабин эксплуатировал уже довольно долго – вплоть до поры, пока радикально не поменялись времена, уведя с деловой поляны случайных охотников-любителей и бессистемных купцов-дилетантов.

А придумалось ему нечто из разряда вещей почти гениальных, но простых – не сложней стакана круглых семечек, самолично собранных от скушанной папайи. В очередной раз посещал Лев Арсеньевич антикварную комиссионку и брал там незадорого, с точки зрения мебельного стиля, нечто невразумительное – лучше, в никаком состоянии. Вслед за этим лично доставлял мебельное приобретение к своим в мастерские, где они уже, посоветовавшись, решали, какой окончательно вид следует изделию придать, на какую плоскость присобачить барельефный выкрутас схожей породы дерева или каким конкретно шпоном отделать вставки, поверх которых – так, чтобы повидней, – впоследствии крепились псевдоавторские нашлёпки бронзового литья. Тоже, разумеется, не менее бутафорские, чем прочие элементы «мебели из дворца». Эпоха всякий раз подбиралась наиболее подходящей из имевшихся в рассмотрении, утверждалась на основе быстрого экспромта и во многом зависела от внешнего вида и кармана покупателя. Особенно ценились «павловская» и все подряд «Людовики», без прикидок по родословным и разбора по номерам, от и до. И чтобы лак сиял, само собой. А ещё лучше и богаче – снабдить работу «флорентийской мозаикой», вкroppив туда-сюда аккуратные обрезки бросовых пластинок малахита, лазурита, яшмы, родонита и всякого прочего обрезаочно-обломочного материала, каким удавалось разжиться тут и там.

Приобретатель-любитель являлся после «тайного» сигнала реставратора, извещавшего купца, а ещё лучше супругу его, купчиху, об очередной превосходной вещи музейного класса, отданной на легчайшую, едва ли не вообще невесомую реставрацию. Всё – дальше назначалась встреча, на которую уже приглашался сам обладатель предмета торга, моложавый и значительный на вид господин по имени Лев Арсеньевич. Тот всенепременно являлся при галстукке и специальном костюме и после долгих уговоров соглашался-таки на щедрое предложение. И даже малость уступал, имея в виду приятное общение и перспективу на дальнейшее сотрудничество. Ну а нашлёпки те, отформованные, как правило, из напылённого серебром или золотанкой пластика, Алабин прикупал партиями у знакомого бутафора из мосфильмовского цеха.

Именно на этом параграфе своих обильных дарований, как ни на каком другом, Лёва поднялся в те хлебные годы не на шутку, приподняв заодно и поделщиков-мастеров. Однако, обретя устойчивый доступ к лёгким деньгам, те возрадовались и системно запили. В итоге концессия стала угасать и в скором времени развалилась. Как, впрочем, сникли вскоре, окончательно утилизировавшись, и эти чудные, безоблачно-беззаботные времена феодально-быстрых накоплений, брякнувшись однажды оземь и неожиданно обернувшись для Льва Арсеньевича Алабина злым и осторожным серым волком.

Ну а параллельным ходом, имея потихоньку отовсюду, не забывал он и про праздник-Париж, постоянно держа его при себе, время от времени вояжируя туда-обратно. Всякий раз возвращался не пустым. Однажды, в середине девяностых, напрямую напоролся на Леже, того самого, Фернана. Холстик, необрамлённый, 40 × 25, масло, обитал в одиночестве и забытый в доме на улице Аржантан, куда Лёву привела очередная блошинная торговка художественным старьём в ответ на просьбу осмотреть домашний завал. Тётушка эта, авансом приняв от приятного на вид и слух иностранца 50 франков за беспокойство, позволила ему порыться в чердачных чемоданах и сундуках. Договорились на полтора часа изысканий. К концу первого часа, перебрав четыре сундука, Алабин и вытянул его на свет, Леже, и, приблизив тряпицу к освещению, разобрал позади холстины: «Женщина с ручной крысой. 1922». Ну а на лицевой стороне – подпись. Его самого.

Ему сделалось дурно – самое начало кубистического периода вполне ещё молодого тогда художника. Подобного класса работой могла похвастаться разве что галерея Тейт в Лондоне или, скажем, Центр Помпиду в Париже, который, если уж начистоту, вполне бы мог и сдохнуть от завистливого желания занять подобную работу. Кстати, даже Музей Леже в Биоте и тот бы не похвастался таковым. Вроде всё.

Руки дрожали, голос просел, особенно когда прощался с хозяйкой дома, сокрушаясь, что так и не нарыл ничего более достойного, чем слежавшаяся чердачная пыль и единственная еврейская пасхальная рюмочка чёрного серебра с облезшей позолотой изнутри. Рюмка была не нужна, но, спросив цену, он отдал франки не торгуясь, тем более что попросили немного. В это время Леже, сунутый под сокрытый свитером ремень, уже согревал ему середину живота и часть грудины.

Он вывез его без затей, просто кинул в чемодан, обернув газетой и поместив между нестираными трусами и грязной рубахой. Пока летел, думал о той тётушке, но больше не о ней самой, а скорее о том, как этот кубистический Леже оказался именно в том месте, куда его, Лёву Алабина, торкнуло зайти и проверить. Тётку отчасти было жаль, но он решил не заморачиваться, понимая, что если бы открылся ей в своём намерении завладеть холстом, то та, может, и заметила бы масляную закорючку в правом углу и, глядишь, въехала бы в суть дела, если не полная идиотка. На то они и французы – жадные и неприветные до всякого культурного иностранца. Именно так он успокаивал себя, понимая, что просто тупо и внаглую похитил произведение искусства у частного лица, при этом ухитрившись избежать подпадания под иностранную юрисдикцию. И, уже сформулировав ситуацию таким образом, жёстко обозначил её для себя, произнёсши куда-то в самолётный воздух, что, мол, жулик ты и вор, Лёвушка, и больше ничего, несмотря ни на какие таланты, научные исследования, уважение коллег и замечательно умные статьи. Но, с другой стороны, подумал он, ведь потому люди и совершают дурные поступки, чтобы по прошествии времени суметь по достоинству оценить дела добрые, ими же совершённые.

Вернувшись, ненадолго залёг на дно, надёжно пристроив Леже на отцовской территории. Нужно было крепко подумать ещё, чтобы не ошибиться. А заодно и не пришлось бы сопровождать сделку атрибуцией, в процессе которой – он уже знал это – легко напороться на неприятность, если вещь, к примеру, нечистая, или же, допустим, известная и имеется в каталоге международного розыска, как публично заявленная, но утраченная на каком-то этапе истории.

Да мало ли чего – просто настучат в органы страха и упрёка, скажут: явился, мол, сопля молодежь, говорит, Леже принёс, а там и правда Леже оказался. И чего дальше, куда копать, откуда ноги растут у этого самого Леже, понимаешь.

Он не ошибся. Правда, пришлось упомянуть кое-где громкое имя академического отца, сослаться на то, что снял со стены у папы-академика, а вещь домашняя, наследная, но и сам же, с другой стороны, не абы кто и как в искусстве – дипломированный искусствовед, молодой доцент, всё такое. Рисковал. Но это, подумал, строго для чистоты дела и надёжности размещения оборотных средств.

Кроме всего прочего, идея его уже тогда имела виды на единственно правильное будущее, которое рисовалось Лёвушке лишь в светлых, позитивных и прозрачных тонах, какие, как ему помнилось, использовал Казимир Малевич на рубеже веков, в своём ещё импрессионистском цикле, где его небесная живопись под завязку наполнена солнечным светом, радостью, надеждой на вечное и живое. Да вспомнить хотя бы «Садик», что висит в Третьяковке, – глянешь лишний раз и сразу всё поймешь, про себя в искусстве и про искусство в себе. Шутит так – но без внутренней ухмылки, уже в те годы принимая для себя и истово веря в первооснову Красоты, в главенство её над всем остальным. Хотя именно это «остальное» и требовало конкретных материальных затрат – оно, а не то самое, «первичное».

Фернана Леже взял банкир. Принял без атрибуции. Вроде как вложился. До того как расстаться с драгоценностью, Лёва изучил нескольких кандидатов на обладание прекрасным, пробив каждого на ощупь острым глазом. Заходил в адрес – когда от случайных людей, а когда просто по наитию, – отбирая для дела очередного подходящего вора с хорошим лицом и достаточно подлым взглядом. Деньги, что пришли в результате купли-продажи, остались там же, в банке купца. Сам же он был спокоен: автор был подлинный, выстраданный лично им самим и потому атрибутированный – иначе какой же из него эксперт!

Ему завели дебетовую карточку, и с этого момента Лев Арсеньевич начал жить как окончательно белый человек, но при этом все ещё продолжая мысленно разламывать себя надвое.

Через год надыбался Павел Филонов, придя от кого-то из дальней родни сестры художника Евдокии Глебовой. Та ещё в семидесятых передала в дар Русскому музею всё, что осталось от великого брата. Да только не все, как выяснилось, работы доехали до адресата. Койчего зависло в промежутке между даром, упаковкой и перевозкой работ в направлении нового владельца. Восемь итальянских филоновских пейзажей, ранних, периода 1912–1913 годов – это когда путешествовал Павел Николаевич по Франции и заодно навестил Италию. Лев Арсеньевич глянул, ахнул и присел. Небольшие, отличной сохранности, – чудо, чудо, а не пейзажи, один к одному, совершенно убойная серия высочайшего авторского письма – ни с кем не попутаешь, коль уж считаешь Филонова. Тут же включил обаяние и деловитость. В итоге принял весь объём, уже на свои, не одалживаясь у папы и не кредитуюсь у банкира, что на выходе сыграло приятную роль: на этот раз коэффициент удачи вышел один к восьми.

Потом туда же, в уже проверенный и накачанный культуркой банк, отправил добытого по наводке Фалька, Роберта Рафаиловича, такого же формалиста, как и Филонов, но, в отличие от удачно пристроенного ранее певца грядущего апокалипсиса, – тончайшего колориста, филигранщика, трепетно вибрирующего на грани высочайшей чувственности. Наводка была от дёсочника, иконщика, в руки которого двумя днями раньше ушла пара «праздников» восемнадцатого века, зависевшихся в окраинной квартирке дальней родни умерших наследников Раисы Вениаминовны Идельсон, второй жены Фалька. Верней, наводка пришла не от самого спекуля, а от его реставратора, который, как выяснилось, сотрудничал не только с доцентами и дипломированными искусствоведами, но не менее успешно восстанавливал и иконы, в том числе несправедливо добытые, что несли ему люди разные и всякие. Он-то и обмолвился о родне, от которой пришли доски. Он же свёл и с посредником-иконщиком, которого Алабин сразу же

заинтересовал при помощи вручённого тому аванса, как и положено было делать в культурных деловых московских кругах.

Лёва не прогадал, дав тогда дёсочнику денег. Жалел о том лишь, что Фальк остался в единственном экземпляре. Но зато был он роскошен: «Голая на красном покрывале», 1931 года письма, масло, холст, 90 × 60. Налюбовавшись картиной так и сяк, Лев Арсеньевич прикинул и пришёл к экспертному заключению, что «Голая» эта по стоимости равноценна или всего лишь чуть не дотягивает до трёх филоновских пейзажей из тех восьми и, стало быть, с учётом нынешнего курса Центробанка потянет на... Далее следовал несложный подсчёт, и за минусом накладных в остатке получилось тоже красиво, как всегда, если отбросить редкие непопадания в масть. К тому же уже на месте, когда брал вещь, он выяснил, что впоследствии, после развода с Фальком, Раиса Вениаминовна вышла замуж за Лабаса, немало почитаемого Алабиным постфутуристического экспрессиониста, и это обстоятельство радикально меняло намеченный ранее план переговоров с роднёй относительно цены.

Он прекрасно помнил, как, ещё будучи студентом, глотал, глотал, набивал себя новым знанием, всеми этими удивительными художниками, вчитываясь в биографии, вылавливая манеры их письма, пытаясь отгадать посыл ему, Лёве Алабину, от них, великих и неповторимых, умевших зафиксировать, рассказать о времени и его предмете так, будто не умели, не могли иначе, даже если некий кувшин больше напоминал собой фрагмент мозаики, выложенный наивной детской рукой, а художественный объект в виде человека, со всеми его внутренними заморочками, – простую игру цвета, света и тени на фоне смещённых один относительно другого кругов и треугольников.

Тогда же впервые и наткнулся на Александра Лабаса, Александра Аркадьевича, того самого, инопланетного в своих работах, с остатками неближней родни которого, образовавшейся через супружество с Идельсон, он, скорее всего, теперь и общался.

В тот день он выкрутил больше ожидаемого, намного, по существу сорвал банк. Кроме «Голой на красном покрывале», от первого мужа давно почившей и никогда не виденной многородной бабушки Идельсон удалось пожить ещё и остатком самого лабасовского наследия, своей невеликой частью по случайности зависшего в семье их общей с Фальком родни.

«Поезд» – был иной вариант того самого, хорошо известного, недавно экспонировавшегося в Государственном музее живописи и искусства полотна. В этом – уже отсутствовал сам он, стремительно надвигающийся на зрителя, чёрный, размытый фокусом абрис страшного локомотива с красной поперечиной понизу и красным же фонарём журавлиного семафора. Тут было иное: локомотив уже обрёл вполне законченные, твёрдые формы и своей безудержной скоростью целил прямо в вас, в голову вашу и глаза. Вокруг него, слева и справа от густо-красных колёс, – контуры замерших в бесконечном восхищении зрителей, любующихся неземным его полётом над самой обычной землёй. Они образовали два полукруга из собственных тел, стоя, тесно прижавшись плечом к плечу, и Алабин видел уже, отчётливо осознавал, принимая в тот момент сигналы железного зверя, что как только тот унесётся, отлетит от этого места, вдарив всей безжалостной мощью в его, Лёвин, неприкрытый лоб, то люди эти сомкнутся, образовав законченный телесный круг и, выстроивши собою клин, улетят, устремятся вслед за исчезающим из поля зрения локомотивом, чтобы не утратить для себя, не забыть этого чуда, сошедшего на их землю из каких-то иных миров.

Именно так увиделось Льву Арсеньевичу то самое, что пронеслось мимо глаз его, вполне оставаясь на том же самом месте. И в этом был весь он, Лабас, ставший открытием и на какое-то время сделавшийся кумиром Лёвкиных студенческих фантазий. Впрочем, теперь он стоил непомерно больше тогдашних денег, и потому Лёва, удачно отторговавшись, забрал его всего, целиком. Там ещё, кроме «Поезда», получилось три работы: «Посадка дирижабля», «Город с верхней точки» и «Парашют раскрылся». И это было счастье, определённо, однако Алабин не мог уже с точностью сформулировать для себя: какое оно, на что похожее и куда его больше

следовало теперь отнести, к какому причислить параграфу беспокойной жизни своей – всё ещё к духу неугасному, к дыханию своему, к мечтательной, неотъёмной части замороженной своей души? Или уже к материальному, к привычной плоти, пахнущей потом, одеколоном и слоновым бумажником.

Отдал – в пакете, найдя почти такого же восторженного кретина, каким ещё недавно был сам, но только тот оказался при более чем серьёзных материальных возможностях. Признаться, немного кольнуло, когда окончательно удостоверился, что купленное тот богатый честно развесит в спальне и так же беззаветно вместе со своими домашними станет любоваться и гордиться покупкой – Лабасом и Фальком. Но всё же, если оптом, как ни крути, получалось прибыльней, учитывая отсутствие в дальнейшем нужды пристраивать работы чёрт знает какому имуществу полудурку. Ведь были ещё лекции, были студенты, а бывало, что случались и студентки, когда у него, яркого, весёлого препа-острословца, находилось для них лишнее окно.

Однако были и непопадания, те самые, редкие, но обидные до жути, вплоть до расстройства живота и ниже. Он помнил, как прокололся тогда с коровинскими эскизами к декорациям к «Князю Игорю» для постановки в Ла Скала в 1911 году. Правда, только поначалу, но всё же.

Принял их сразу, все четыре: два, помнится, акварельные, другая пара – темпера, и все из семьи покойного баса Большого театра Гудилина. Куда уж честней и надёжней, чем когда на твоих воспалённых от нетерпения глазах работы снимают с гостинной стены и подают тебе в руки в обмен на рубли. Сам дух гудилинский выветриться не успел ещё из гостиной той, что в кооперативной квартире от Большого театра. И вдова безутешная рыдает, и сын-дылда, почти взрослый, с ранней залысиной и дурновкусной серьгой из фуфлового серебра в ухе, молчит угрюмо, прощается с оттоком первой порции наследства. Всё подписное, кстати, всё честь по чести, с датами и даже дарственной надписью на одной из работ, священной рукой великого декоратора и живописца выполненной в адрес дедушки басовитого певца.

Денег, если откровенно, мало дать уже не получилось, как бывало раньше: наследники оказались хотя и удручённые горем, но всё ж как-никак грамотные. Другое дело, что в итоге оказалось всё чистейшим фальшаком, хотя и по-настоящему высокого класса. Сам-то он в эту горькую для семьи минуту даже всматриваться ни во что не стал. Тут же, правда, поймал себя на мысли, что мало-помалу башка его из двух извечно соседних вариаций – сама работа или же её монетарный эквивалент – начинает неуклонно оттирать первую к обочине, хотя не привлекает с должным почтением и вторую. В общем, рассчитался накоротке, упаковал, сделал глазами печально-сочувственно и был таков. Откуда сомнения, раз всё из честной и благородной басовой семьи? Там даже два рояля в квартире имелись, белый и другой белый, – при чём недоверие? Даже пятна выпцветшие остались на обоях после Константина Коровина: всё сходилось, как лучше не бывает. Вот и лоханулся, как недоумок из кунцевской подворотни, не повёл себя, как надо бы повести, – вдумчивым искусствоведам при галстукке и экспертной должности.

Однако до фиксации момента истины отдал всё же в атрибуцию при Третьяковке. Подумал, хуже не будет, зато пристроить легче: эскизы вам – не полноценная живопись или же нечто портретное, узнаваемое. Эскиз любит профессионала, знатока, культурного ценителя – ровно того, кто как раз не платит, но просит документ под сделку: фото чёрно-белое, 9 × 12, описание плюс штампик и печать экспертного заведения. А ещё лучше – письмо с подписью, скажем, директора или научного секретаря Института искусствознания или, что также приветствуется, пара-другая рукописных фраз гранда какого-никакого от искусствознания с приятно узнаваемым крючком в финальной части текста.

Сам Лев Арсеньевич в ту пору грандом таким ещё не сделался, но всегда того хотел, порой представляя себя в кресле решателя картинных судеб, носителя Слова и обладателя Руки, чьи заключения по умолчанию неоспоримы, а доводы, пускай даже сказанные впроброс, неизменно берутся на карандаш и далее учитываются всеми и всегда.

Из Третьяковки эскизы вернулись с заключением: «Работы (эскизы – акварель (2), темпера (2), всего 4 шт. Разм. 30 × 50, картон) принадлежат кисти неизвестного художника. Предполагаемое время написания приблизительно соответствует фиксированному на произведениях. Автографы, как и надпись, руке художника Коровина К. А. не принадлежат. Старший эксперт Темницкий Е. Р.».

Темницкого этого Лёва знал не то чтобы хорошо, но встречал на истфаке МГУ, как-то даже столкнулся с ним лоб в лоб, однако толком не пообщался. Тот, кажется, учился в то время на четвертом курсе, как раз когда Алабин только поступал на отделение теории и истории искусства. Но до этого они успели ещё пару раз пересечься в доме общих знакомых по линии отца. Один раз то было вместе с мамой, ещё живой; другой раз в те же самые гости сходили только отец и он, мама тогда уже начинала плохо себя чувствовать и избегала ненужной усталости.

Отец уже знал о неизлечимом финале. Лёва – нет. Они ему не говорили, берегли, хотели дотянуть до последнего, чтобы разом не оглоушить и не вывести из процесса подготовки в вуз. Папа, как и все достигшие в своём деле успеха отцы, настоятельно советовал двигаться по его линии, идти в «Стали и сплавов». Там бы обошлось, считай, без экзаменов, принимая во внимание отцово имя, ну а дальше – всё как у всех своих, так уж заведено: аспирантура, диссер, мэнээс, эсэнэс, завлаб, замзавотделом, завотделом, замдиректора по науке и т. д, как говорится, и т. п. – при живом, конечно же, и действующем отце. Мама же – нет, не хотела. Более того, как могла противилась отцовскому плану засунуть сына вместе с чуждой его, такой чуткой и «отзывчивой на всё культурное» головой в эти неживые металловедческие хлопоты, будь они неладны. Иного желала она Лёвочке, мальчику своему любимому, совсем-совсем другого счастья для верно скроенной жизни – безболезненного, тёплого, нежно ласкающего сердечную мышцу и трепетно устроенное мужское начало.

– Счастья, счастья вам всё какого-то подавай... – недовольно ворчал в отдельные дни Алабин-старший, не скрывая лёгкого раздражения от навязчивой идеи своей супруги. – Боже всевышний, ну объясни ты им наконец, что на свете есть ещё куча всяких прекрасных занятий и дел, помимо этого вашего невнятного счастья!

И всё же не одолел отец ползучего противостояния в лице дуэта из матери и сына, несмотря на высокий пост и непререкаемый семейный авторитет. Было поздно. Сын его, Алабин-младший, пока не начались ещё эти пахнущие передержанной квашеной капустой семейные пикировки, уже взахлёб дочитывал подsunутую матерью брошюру – краткий вариант двухтомника «Мифы и легенды Древней Греции». И всё сошлось. И срослось. «Состоялось!» Именно так, таким коротким восклицанием, впоследствии стал он подтверждать факт любой приличной сделки, и после этого пересмотр был невозможен. Разве что возврат. На новых, как водится, условиях. А что до Темницкого, Женька этого, то вроде бы мать его у отца Лёвкиного работала в институте, кем-то там тоже металлургическим, как и сам родитель, но только рангом пониже, не выше кандидатки этих самых железнорудно-залежных отцовских наук, – типа учёный секретарь или просто секретарь. В смысле, секретаршей в приёмной. Это уже после того, как мама умерла, а он только-только учиться начал. А до этого... До этого даже вспомнить лишний раз не хотелось, кем она там у папы служила, мамочка эта Темницкая.

В общем, новой фамилия для него не прозвучала, да и раньше он её встречал, по делам, но только вот не запомнилось, в каких конкретно случаях. Да и не особенно было нужно: дела свои обычно старался обставить так, чтобы работы, с какими запускаться в очередную историю, вовсе не подвергались атрибуции – не стоило лишний раз связываться с официальной экспертизой, от которой одни неожиданности да головняк.

Однако тут, в случае с Гудилиными, в подлинности Коровина Лёва был уверен как никогда. Подлинники были, аж кровоточили – что патиной времени, что качеством выделки. Даже, кажется, хотел в тот момент, подавив в себе неприятное чувство, идти к этому Темницкому

Евгению, объясняться, настаивать на своём, чтобы они, третьяковские, изложили ему факты, от которых отталкивалась экспертиза, – просто понять для себя, на чём в итоге строилось это их паскудное заключение. И кто ещё из экспертов, помимо подписавшего, участвовал в его подготовке. Врага, уже тогда полагал Лёва, всегда лучше знать в лицо, а не только в подпись.

И всё же передумал, не пошёл. Сам отменил своё же намерение. Понял вдруг, вернее вспомнил, как стремительно в какой-то момент сын покойного баса зыркнул в его сторону глазами, в которых только теперь, уже задним умом, Алабин засёк легкое беспокойство и явное сомнение. Но не придал тому значения. Культурный дом, убитая горем семья, подлинники на стенах – чего ещё? Но теперь этого короткого и яркого, как выстрел из поджиги, экспертного заключения Льву Арсеньевичу хватило, чтобы, засёкши подвох, включить в получившуюся историю самое ремесло – то самое, на чём сидел не первый год. То, что кормило.

Итак, год 1911-й, Коровин Константин Алексеевич – то, что мерещилось Куинджи, как известно, удалось Коровину. Святые слова! Кстати сказать, и тот кидняк, что устроила Льву Алабину семья баса из Большого, точно так же не останется неотвеченным. Именно такое идиотское сравнение просилось в голову на протяжении всего пути от съёмного жилья на Комсомольском проспекте до университетской кафедры. Как, Лёва пока не знал, но уже чувствовал, что просто так не обойдётся, что своё вернёт, хотя вполне возможно, что и не накажет этих Гудилиных, простит. Наверное, в тот самый момент, когда, себе же удивляясь, он про это понял, другой его Лёва, первый, уже мешал отточить план достойной мести всему этому гудилинскому семейству. А ещё, зная себя, подумал, что кабы не другой, не Алабян, то, скорей всего, даже не стал бы он разбираться, кто там у них всё это гадство затеял и почему они выбрали для своего семейного культурного кидка именно его, достойного человека, профессионала, знатока русского авангарда, доцента кафедры истории русского искусства.

Однако в минуты редкие, но душевно ответственные возникал второй Лев, словно ниоткуда, каждый раз намереваясь сделать больно первому, оборвав его алабинскую малину, наследив в душе чем-то горько-кислым, плохо и долго убираемым слюной.

Так, дальше – всё тот же 1911-й. Где же он, Константин Алексеевич, где вы, мсье Коровин, – ау? Ага, да вот же, вот, всё лето и почти вся осень – берег Гурзуфского залива, вилла «Саламбо», только-только выстроенная по собственному проекту художника, прекрасный и неповторимый вид на море. «Рыбы» пишет; сразу же вслед за ними – «Рыбы, вино и фрукты». А тут и куча натюрмортов да пейзажей подоспела – смотрите, граждане, того же самого искомого периода, с мая по октябрь, безвылазного, кстати говоря, южного, напоённого солёной черноморской пылью, радужной, искристой, вдохновенной. А вот и «Рынок в Ялте», и «Крымский рынок», и «Вид с балкона». Мало? Тогда вот вам ещё, друзья Гудилины, на закуску, от всё того же месяца сентября, что прописан самой что ни на есть авторской рукой на обратной стороне ваших фуфловых эскизов. Вот они, смотрите, наслаждайтесь, – «Лодка в заливе» и «Рыбак». Всё? Какая, к чертям собачьим, Италия, какой Милан, какая вам Ла Скала? Нельзя быть и тут и там одновременно. Какой «Князь Игорь», в конце концов! А скажу какой, если просите. Тот самый, наверное, чья премьера состоялась в Метрополитен-опере в 1915 году, и лишь через год после того спектакля, как раз в 1916-м, «Князя» пропели в миланской Ла Скала, да так громко, что папа ваш покойный, скорей всего, в гробу свежестроганом переверотился б от зависти: всё ж Милан вам не Москва, а Ла Скала – не Большой, да и сам был не настолько корифей корифеич, если обнаглеть да сравнить.

Слов этих Лев Арсеньевич, само собой, не произнёс, просто подумал о том, как бы они прозвучали въяве, ежели чего.

Он молча положил перед семьёй аккуратно упакованные эскизы, покрыл их сверху экспертным заключением и короткими слогами отчеканил:

– Прошу вас вернуть деньги. Отдельно – за экспертизу. – И скупое кивнул. – Квитанция – там.

Мама, которая вдова, парализованная словами добросовестного приобретателя, едва сумела выговорить:

– Почему... вернуть?

– Потому что и дарственную надпись, и сами подписи организовал ваш сын, – произнес Лёва и так же коротко глянул на него. – Верно? – И ответил сам же, за него, угадав ответ, поскольку уже успел расшифровать сынову стойку, всю, от дрогнувших плеч и далее через тревожный изгиб спины до двукратно произведённого тика большого пальца правой ноги, видного через прорезь домашней сандалии: – Верно.

– Мам, отдай деньги, – отреагировал тот, не выказав ни удивления, ни испуга.

Судя по всему, к возврату был готов, как и знал, с другой стороны, с кем имеет дело.

В этот дом Лёва, выглядевший, как и всегда, respectable господином при манерах и галстук, вошёл по рекомендации балетного премьера Никочки Сиквиладзе, у которого с месяц тому назад ему удалось перекупить чудесный графический этюд Бенуа, из знаменитой серии 1906 года «Аллеи Версаля», подаренный тому кем-то из его мужских почитателей. Кстати, пока общались, Никуша, с трудом одолевая в себе ревность, успел между делом упомянуть о подарке, синхронно сделанном всё тем же чокнутым дарителем ближайшему конкуренту по искусству танца, премьеру из Мариинки Серёже Совушкину.

– Сомов, кажется, какой-то и ещё некий Бакст – слышали, Лев? Правда, обе не так чтоб большие по размеру, ну, приблизительно такие вот, – и указал тонким пальцем на собственное полунагое фото – с открытым торсом и рельефно обтянутым низом. – Серёжа вроде бы не знает, куда их деть, потому что никогда о таких художниках не слышал, так что, пока не поздно, можно успеть проявить интерес ко всем трём...

И загадочно глянул на Алабина, ожидая реакции на свой милый тест. Проверял. Так... в силу устойчивой привычки делать добро мужчинам, отщипывая, если получится, от этого добра свою же безобидную мужскую крошку. Но выход на Совушкина по-любому дал.

Деньги за фуфлового Коровина, как и экспертные затраты, семья баса из Большого вернула полностью, хотя перед ним не извинились, всего лишь продемонстрировали огорчение имевшим место фактом. Не стали маскировать и попутного раздражения от этого неизвестно чьего непотребства, имея в виду, что в театральной семье баса Гудилина подобное просто невозможно по определению. Сын молчал; мама же, пропустив Лёвин вопрос мимо разума, глядела прямо и с укоризной, явно намекая, что всё происходящее здесь и сейчас напоминает собой лишь хорошо подготовленный предлог пересмотреть цену, а по сути – банальное вымогательство опытным дельцом от искусства дополнительных денег у убитой горем семьи народного артиста.

Всё бы ничего, Лёва проглотил бы и эту очередную человеческую недалёкость, кабы не пересекла она границу дозволяемой подлости.

– Я не знаю, как и когда ваш сын это задумал, – спокойно, не поднимая голоса, произнёс Алабин, – как и не в курсе я относительно того, кто конкретно был привлечён им к этому делу, но могу вам сказать, что сделано это хорошо, чрезвычайно профессионально, у него почти получилось меня обдурить. И знаете, только ваше семейное горе не позволило мне сразу же, на месте, определить в прошлый раз этот подлог. Если бы я не уважал вас и если бы испытывал к вашей семье сочувствие меньше того, которое имею, то, поверьте, я просто захватил бы с собой лупу, и затея вашего сына уже тогда бы не прошла. Но я её не принёс. И я не стал унижать нас всех недоверием. Но, как вижу теперь, напрасно. Да и Третьяковка, как сами можете убедиться, тоже слово своё сказала.

Вдова продолжала молчать, сын ёрзал на месте, однако рта раскрыть не решался, понял уже, что этого конкретного обуха его пацанской плетью не перешибить. Но сказал-таки слово, смягчая уход от окончательного разоблачения:

– Мы и не имели в виду, что ваша экспертиза неверная, но просто они тут всегда висели на этом месте, картинки эти папины, именно в таком виде. А кто, что и когда делал с ними, мы просто об этом никогда не задумывались. – И обернулся к матери. – Да, мам?

Да, не знала – теперь Алабин это понял окончательно, глянув на растерянную вдову. Нет, не втаскивал её сын в это паскудное дело, да и незачем, в общем, было. Подпись, что на лицевой стороне, едва различима и так, ну а всё остальное, что на обратной стороне, весь этот фальшивый провенанс – это всё чистый фуфел, о котором мамаша ни ухом ни рылом. Однако в то же время не мог... ну просто никак не мог Алабин не восхититься работой поддельщика, какого надыбал сынок. И потому решил искать компромисс, коль скоро всё одно уже никто – никому. И нашёл. И пояснил:

– Хорошо, пусть так – не ведали, не знали, не состояли. В таком случае вот моя версия. Эскизы ваши настоящие, хоть и не руки Константина Коровина. Выполнены они, скорее всего, к реальной премьере «Князя Игоря» в миланской Ла Скала в тысяча девятьсот шестнадцатом году и даже, возможно, соответствуют декорации того самого спектакля. Но только позднее... как мне теперь представляется, тот, кто владел ими и подарил вашему прародителю, возжелал подарок свой утяжелить, сделав, так сказать, мощный реверанс в адрес бабушки народного артиста. Ну и учинил, выходит, всё это обманное безобразие, понимая, что проверки всё равно не будет никакой и никогда.

Лёва перевёл взгляд с одного басового наследника на другого и подумал, что пора завершаться. Ему ещё предстояла встреча в банке, насчёт которой договорённости пока не имелось, но он уже предполагал, что она вот-вот возникнет. И завершил словами:

– Так что, дорогие мои, давайте считать эту историю нашей общей ошибкой, а того, кто бабушке вашему такое подсунул, скорее всего, уже вообще на свете нет, верно?

И широко, по-алабински, улыбнулся. И заметил, что маму чуть-чуть отпустило, но сын её, явно заподозрив нечто, как-то странно взглянул на него, как бы выражая удивление столь неожиданным огуманиванием темы со стороны малоприятногo гостя. Лёва тут же не преминул подозрением этим воспользоваться, не давая противнику времени на раздых. И вновь обратился к вдове:

– Вы не будете против, если мы с вашим сыном ещё какое-то время пообщаемся тет-а-тет?

Та неопределённо мотнула головой и удалилась на кухню, переживать внезапно вскрывшийся обман бабушки её покойного супруга неизвестным дарителем. Лёва же сделал привычно строгое лицо, вновь приняв дежурный облик делового человека, ценителя живописи и грозы нечистоплотных коллекционеров. И резко продолжил.

– Значит, так, парень, – обратился он к сыну, – спектакль этот я сыграл исключительно ради твоей мамы, из жалости к памяти её мужа и твоего отца. Но, как ты догадываешься, я же могу его легко и отменить, отыграв обратно. Это понятно? – И пристально глянул в негодйские глаза наследника фуфлового Коровина.

Тот равнодушно кивнул и ответно поинтересовался:

– А чё надо-то?

– Чё? – переспросил доцент Алабин. Такой ответ сына даже несколько ободрил его. Впрочем, он уже и так сообразил, что пацан ломкий и совершенно не такой театральный, как его впечатлительные родители. А скорее всего – обычный латентный наркоша или попросту шпана, банальный выродок всесезонного разлива. – А вот чё! – И перешёл к делу: – Слушай сюда, разговор будет короткий, и вариантов развития у него всего два. Первый. Ты сведёшь меня со своим лукавым реставратором и отрекомендуешь по всей форме. Есть? – И по-отцовски глянул на молодого уroda.

– Ну допустим, есть, – согласился ответчик. – Чего ещё?

– Ещё того, – продолжил Алабин, уже довольный хотя бы этим промежуточным результатом, – эскизы твои фальшаковые я готов снова забрать. Цену раздели на восемь, реши вопрос с матерью и соглашайся. Срок – сутки, я тебя наберу.

– А то чё? – с вызовом отозвался сын покойного отца.

– А то – то! Плохо будет, парень, совсем. Коли не ты, так я сам максимум неделю потрачу и человека твоего сыщу, таких спецов по городу трое-четверо, не больше, сам понимаешь. Дальше он даст показания, потому что его очень попросят, и на тебя откроют дело. А я помогу следствию по части сличения факта с экспертизой Третьяковки. Там у нас господин Темницкий экспертом трудится, если что, ну а заодно он же у меня и в друганах состоит. – Алабин панибратски ткнул парня пальцем в грудь, демонстрируя превосходство позиции. – Всё, выбирай. – И добил заходом в тот же адрес: – А слезешь ты, парень, со своих колёс, или чем ты там организм свой набиваешь, или не слезешь, мне, если честно, без разницы. Хоть на чистяке сиди. Мне важно, что я тебя выручаю и ты мне за это должен, – такой порядок.

Сказал и увидел, что попал: и по первому пункту, и по второму. Тот, кажется, понял. Буркнул беззлобно:

– Завтра в это же время спущусь, отдам.

– И расписку новую не забудь, – напутствовал его Алабин.

А сам подумал, что встречу в банке всё же надо организовать чуть погодя, явившись с уже приготовленным для разговора товаром, чтобы убить их там сразу же, выложив на стол председателя правления заветные дарственные надписи мордами вверх, всеми четырьмя.

Через два дня нетрезвый, пожилой годами, с круглой отвислой родинкой правой пористого носа реставратор-копиист, так долго не попадавший в поле зрения Льва Арсеньевича, пахнувший так дурно, что вонища от вечно недомытого тела надёжно перебивала запах красок в подвале, где он трудился, уже пыхтел, самозабвенно дописывая талантливой рукой недостающие дарственные. Две адресовались Фёдору Шаляпину, другая – Сергею Дягилеву, и последняя, наиболее выигрышная по курсу ЦБ и с очаровательно-нежным посвящением, – Лейбе Давидовичу Бронштейну-Троцкому. Там же, в мастерской, когда пришёл забирать заказ, в дальнем углу приметил Лёва две работы на двух мольбертах под одной приглушённой лампой, среднеразмерных – масло, холст, – неизвестных ему, по-близнецки неотличимых одна от другой, словно пара предметов искусства, выколупнувшихся из одного яйца. На переднем плане – нечто зелёное с красным и слегка фиолетовокрылое. Позади – размытые контуры человеческих фигур. И ещё нечто условно лошадиное. Впрочем, хорошо не разглядел, спешил, да и не его это постороннее дело влипать в чужое. «Жаль только, копии эти множатся со скоростью орешней скорлупы, – подумал Алабин, отдав должное исполнительскому мастерству ассистента по ремеслу. – Хотя, если уж убойного качества, то пускай». Одна копия была в раме. Другая – на подрамнике и, судя по всему, досыхала.

– Что, – кивнул в угол Лёва, – копируем помаленьку типа авангард?

– Ну да, – не оборачиваясь, вяло отозвался подвальный затворник, – люди-то хотят, заказывают, просят. Вот... помогаем чем можем помаленьку.

Той же ночью, после успешно проведённой банковской операции, Алабин, договорившись на кафедре о подмене утренней лекционной пары по курсу «Русская живопись среди европейских школ» доцентом Суриным, уже перебирал задумчивым взглядом облезлые столбы, мимо которых проносился его скорый Москва – Санкт-Петербург. Попутно мельканию спящих бетонных опор Лев Арсеньевич размышлял о том, что, как бы то ни звучало странно, но будет недалековидно и даже глупо, если он своё нечеловечески мужское обаяние не потратит на расширение собственной коллекции или хотя бы на промежуточное устройство текущих дел. Вон как славно всё у них с Никой получилось, да и с Серёжей этим наверняка сойдётся: в этом уже не было ни малейшего сомнения. Он ведь, если вдуматься, хорош был собой, Лёвушка, ничуть не хуже самого Ники: спортивен, улыбчив, вполне доброжелателен и, глав-

ное, много умнее этих странных человек, существующих в мире пируэтов, батманов и прочих потных гран-плие, – всех этих танцующих, с позволения сказать, людей, едва ли представляющих себе, чем славен диалогизм в теоретической рефлексии лидеров русского авангарда или что есть жест в их же художественной поэтике, но уже в варианте раннего авангарда. Для них-то самих «жест» – всего лишь красиво изогнуть руку, отвернув кисть так, чтобы выгодней преподнести своё истинно немужское запястье, или же как-то по-особохитрому откорячить навыворот лодыжку. А доцент Сурин, если уж на то пошло, просто клинический случай безвкусного идиота – неуч и бездарный пошляк, начитавшийся беспорядочных книг, напивавший голову кучей умных, едва произносимых собой же самым наукообразных терминов, а по сути не могущий, раз уж разговор зашёл, как и эти человеки, навскидку отличить Лентулова от Кандинского с расстояния больше десяти метров. И вообще, позволить ему читать лекции студентам истфака означает оскорбить саму глупость. Впрочем, и Совушкин этот навряд ли в курсе принципиальных различий между Бакстом и баксом. Наверное, прежде чем отреагировать на Лёвушкино предложение, он освежит для себя ещё один принципиальный курс, центробанковский.

И вновь прошло как по маслу, хотя до *этого*, разумеется, не дошло. Он оказался вполне милым и весьма сдержанным в своей интересной особенности, этот самый балетный премьер Совушкин. Алабин, зайдя в дом, широко улыбнулся и, чтобы не чмокаться, как заведено у балетных, просто сразу, отсекая смежные варианты, протянул руку и крепко, так чтобы получилось по-мужски, пожал протянутую ему навстречу прохладную ладонь. «А ведь мог бы и дать за такое дело», – саркастически ухмыльнулся он, едва сдерживая радость завладения двумя роскошными работами любимейших художников. Он уже сидел в центре города, в каком-то маленьком кафе, почти забегаловке, в ожидании обратного пути, и, мелкими глотками всасывая «Чивас», с наслаждением рассматривал последнее приобретение. Он то отдалял от себя Бакста, чуть наклоняя его влево, так чтобы дневной свет, по-питерски скупое падающий из-за давно не мытого двусветного окна, получше освещал работу... то подносил его ближе к глазам и всматривался в затвердевшее навеки масло. В вечность, в вечность и никуда больше в такие недлинные минуты заглядывал Лев Алабин, надёжно веря, что та совершенно не возражает против его участия в ней. Хотя бы такого, коль уж не справляется с бóльшим.

Арочной частью окна, возвышающейся над верхней перемычкой рамы, служил превосходно выполненный витраж из сине-красно-зелёных мозаичных вставок литого стекла. О, как умел он, Алабин, отличить стекло литое от обычного! Ровно настолько же отличались здания питерского от редких домов настоящего московского модерна. Казалось, все на одно лицо, все несут собой изгиб, поворот, эллипс, овал, керамические вставки, причудливое литьё перил и оград, органично вписанные мозаичные панно, неброские барельефные накладки, текучие линии завершения ризолитов... Ан нет, снова не так. Эти, московские, поздние – уже иные, уже отмечены эстетикой рационализма, выдвижением на первый план композиций ритмичных, обусловленных пространственной культурой, несколько уже подсушенной. В основе – плоскость, линейно-графическое начало, уже гораздо более внятная геометрия, выросшая, однако, изнутри, из того же модерна, но уже в широком, во всеохватном его понимании. Ну а если вернуться к стекляшкам, то цветная непрозрачная смальта – она и есть, казалось бы, основа витражного стекла, да только не так всё, верней сказать, не всё уже совсем так. Настоящий витраж относительно прозрачен, хотя и не слишком, к тому же он довольно тонок, уже ближе к плоскому стеклу, но при этом он же непременно должен содержать волнистость, иметь едва ощутимые пальцами наплывы, быть абсолютно чуждым какой бы то ни было полировке. Только в этом случае ему найдётся место в шедевре, если сам же по случаю не шедевр. Лев Арсеньевич нередко вспоминал шагаловские витражи в швейцарском Цюрихе, в церкви Фраумюньстера, что в бывшем женском монастыре; он потом ещё долго не спал, восстанавливая, крутя в памяти, всё ещё мысленно устремляя глаза в ту самую розу, что в центре готического окна,

из семи лепестков, каждый из которых символизирует один день Сотворения мира. Ну а под финал той оторопи, из числа первых в его жизни, из тех, что настоящие, он, извечный ироник, безбожник, верующий, однако, в минуты внезапно накатившей тоски в Рождество, Пасху, а порой даже напрямую и в *Самогó*, особенно в предвкушении важной сделки, стоял, оглушённый, раздавленный, разобранный на хворост и вновь скрученный в спираль, перед пятью вертикально устроенными шагаловскими окнами, метр на пять, через которые сиял тот неземной свет: глубокий синий, рубиновый, изумрудный, зелёный, рыжий. Он стоял, замерев, и читал по этой вновь развёрнутой спирали историю христианства, от Ветхого до Нового Завета, начиная от окна Пророка и далее – окно Закона, окно Иакова и Сиона, и в завершение композиции – окно Иисуса...

Леон Николаевич Бакст, он же Лейб-Хаим Израилевич, он же Лев Самойлович Розенберг, которого, извертевши в руках, Лёва наконец переменял на Сомова, и на самом деле был изумительно хорош. И не только лишь по той причине, что являл собой один из портретов Зинаиды Гиппиус, что уже само по себе добавляло стоимости, исторической и в баксах. Но ещё и потому, что портрет этот будто весь светился, обволакивая своего краткосрочного владельца жёлтым и светло-серым. Но и Сомов, как он уже теперь думал, чутким глазом вглядываясь в работу, мало в чём уступал Льву Самойловичу в плане цена – качество. Это также был портрет, на этот раз Сергея Рахманинова, работы позднего периода уже парижской жизни Константина Андреевича. Тоже масло, тоже холст, тот же, считай, размер, удобный для самой безопасной транспортировки от посредника или владельца до банкира или тайного купца. Судя по всему, даритель, ценя подлинные творения, как и неподдельные чувства, рассчитывал на ответное чувство премьера Мариинки, но что там у них сладилось и как, Лёва не знал. Едва учуяв первый робкий заход в свой мужской адрес, он заторопился и сразу же перешёл к цене, выказав сомнения в смысле удачности такой неочевидной покупки, поскольку и размером не так уж тянет, и спрос на портреты не столь велик теперь, как раньше. Нынче, сообщил он танцовщику Серёже, в моде больше натюрморты и пейзажи. Люди стали резко богатеть и просят чего-нибудь понейтральней, без привязки к конкретным историческим и культурным персоналиям. Хотят видеть в спальне своей если уж не самого себя, маслом писанного, то уж, по крайней мере, закаты и восходы или же фрукты и цветы. Как-то так. И недоверчиво скривил лицо. И отодвинулся на безопасное расстояние, отложив в сторону сомнительного Бакста и далеко не безукоризненного Сомова.

Совушкин вздохнул и в ответ на предложенную цену коротко кивнул. По всему выходило, что коэффициент очередного успеха составит пропорцию где-то один к шести-семи, не меньше. Жизнь продолжалась, искусство не убывало и вновь никуда не девалось.

Глава 2

Ева

Ну при чём тут эти звёзды, ну как эти люди вообще смеют рассуждать о взаимосвязи небесных тел никому не известного разлива с надоедным паховым зудом у соседа по лестничной площадке Петра Ивановича? Или как оно же соотносится с дурным характером гражданской сожительницы его Зинаиды?

Именно так всякий раз размышляла Ева Александровна, перемещая помойное ведро в направлении мусорного зева, расположенного полупролётом ниже её последнего девятого этажа. Зев тот, по обыкновению, был наполовину распахнут, поскольку крышку несчастного проёма неоднократно выламывали трое жизнерадостных молодцов родом из местной шпаны, хотя до конца так и не выломали. В любом случае смыкания чёрной, дурно пахнущей дыры с изувеченной крышкой более не имелось, совсем. Как следствие пацанского вандализма, вонь, исходившая из подвальных глубин одноподъездной блочной девятиэтажки, сделалась практически неустранимой и, разогнавшись тёплым, тухляного оттенка маревом, легко достигала свёрхчуткого носа Евы Александровны, просачиваясь даже через тугое уплотнение квартирной двери. Кто выламывал, какому такому человеческому зверю каждый раз не удавалось довести операцию до логического конца, Ева Александровна знала точно, имея в виду не только целиковый образ малолетних преступных элементов, их общий вид, приблизительный возраст и прочие туманные детали каждого из уродцев, но видя нечто большее и вполне конкретно. Например, относительно первого, самого рослого и наиболее тупого, из назначенной ею преступной бригады картинка складывалась более чем определённая: тёмный низ – скорее всего, изначально светло-серые джинсы, обретшие практически законченный чёрный цвет как следствие несмываемой грязи. Светлый верх, включающий в себя бежеватого оттенка сильно ношенный пуховик с капюшоном, с чужого плеча. Нахальные, заметно косящие глаза водянисто-голубого колера с запёкшимися подтёками в уголках прорезей и светло-русые нечёсанные волосы, жёсткой соломой торчащие из-под капюшона навстречу её мысленной картинке. Как конкретно этот малоприятный пацан «отработал» пуховик заодно с мобильной трубой «сименс» и у кого, Ева Александровна тоже знала. Как ведала немало и об остальных участниках этого дурацкого дела, включая точный рост их помойного бригадира, примерную комплекцию каждого из них и их же, со всеми признаками нормального отстоя, намерения на будущее. Но особенно явственно в нехорошем списке вырисовывался эскиз непробойной дурости несовершеннолетних соучастников нападений на крышку. Картинка рождалась отчего-то не как обычно, когда поначалу формировался контур будущего гостя, после чего начинали проявляться детали, на которые медленно просачивался бледный свет, насыщая изображение объёмом, и только вслед за этим практически готовое бестелесное панно наполнялось цветом, который поначалу возникал как нечто размыто-сизоватое и заканчивался, как правило, мучнисто-белым, однородным и сильным, идущим больше изнутри фигуры, нежели от невидимого внешнего источника. То, что *шло* про пацанов, довольно резко отличалось от обычного рисунка. Первым возникал рыхлый ком, то ли чисто воздушный, то ли выработанный из пылевого обезвоженного пара грязно-серого оттенка, без внятных форм и резких очертаний. Ева догадывалась, что именно так должна выглядеть беззлобная и бездумная глупость в случае, когда героев несколько и все они объединены общим мозговым недомоганием. Оттого и не было к ним выверенного отношения, как, впрочем, не возникало у Евы Александровны и раздражающей злости, и желания догнать и включить встречного дурака и уж тем более замутить какую-никакую мстительную поганку при содействии всё того же отзывчивого соседа, башенного крановщика Петра Ивановича.

От этого малоприятного запаха страдала не одна она. Каждый из жильцов, соседствовавших с ней по её девятому, плевался и похожим образом негодовал в сторону проклятой неизвестности. Однако невозможность разрешения надоедливой тайны всегда одерживала верх над обобщённой истовой мечтой прихватить мерзких вандалов и, изметелив на месте совершения гадости, ещё живыми передать в руки правосудной инстанции. Со своей неравнодушной стороны Пётр Иванович готов был даже пару раз продолжительно отдежурить на лестнице после трудовой вахты, проведённой в башне строительного подъёмного крана, лишь бы застукать негодяев врасплох. О таком своём намерении, прикидывая конкретную месть, он оба раза сообщал Еве Александровне, предвкушая одобрение идеи этой приличной на вид соседкой. Однако та отчего-то задумкой этой не возбуждалась и, наоборот, отговаривала Петра Ивановича от сомнительного дежурства, ссылаясь на низкую вероятность отлова поганцев. Сама-то точно знала: не поймает ни он, ни кто другой, потому как просто не явятся ломатели в уготовленные им засадные дни. Не совпадёт прикидка с фактом. По крайней мере, в этот раз – точно. А коли придут в другой, всё равно удастся улигнуть, и доказать потом их подлое участие у противной стороны не получится.

Именно такой *шла* у неё картинка на эту грустную тему, а картинке своей она привыкла доверять, ибо сбоя, по обыкновению, не бывало. Вернее, то, что могло считаться в этом деле ошибкой, объяснялось не потерей чутья, а всего лишь фрагментарным наличием внешних помех. К ним вполне могли относиться нежелательные приходы призраков из мира мёртвых или их же несвоевременные исчезновения. И каждый раз собственной в том вины Ева Александровна не находила: просто так был учинён этот мир, второй, соседний, смыкающийся с первым по легчайшей касательной, но всё же остающийся для неё первостепенным, несмотря ни на что, невзирая ни на тёплых и живых, ни на всяких иных сущностей, обладающих нейтральной, никакой, температурой. Сущности неожиданно выскальзывали из мира туманов и теней и столь же внезапно истаивали на глазах, вмиг обращаясь в прозрачный воздух и лишь на долю мгновения задерживаясь взглядом на своей же едва осязаемой воздушной ряби.

Так был устроен её мир.

Так была устроена жизнь – тоже её, и больше ничья. По крайней мере, она никогда и ни с кем подобных дел не обсуждала, держа своё лишь при себе одной. И именно так, казалось ей, обитало самое загадочное для неё пустотелое существо, время от времени возникающее в поле её особого зрения, – смерть. Порой, являясь ниоткуда – то ли из-под трещиноватого линолеумного пола, то ли вырастая прямо у неё на глазах из комков тополиного пуха, а то непрошено являясь из помоечного шифоньера с треснутым, потемневшим от старости зеркалом, намертво приклеенным к левой дверце, – она давала знать о себе согласно собственному вольному рисованию. Это были знаки, символы, намеки. Это было пустым на ощупь, но видимым глазу. Это были зримые коды, не имевшие расшифровки, – как напрочь отсутствовала и сама таблица этих загадочных шифров. И это поначалу было забавно. Позднее – вызывало любопытство. К возрасту – стало забирать самым подлинным интересом, поскольку к тому времени имелось соучастие в общем деле. Не раз и не два.

Страшно не бывало никогда. И оттого смерть никогда не воспринималась Евой как нечто реально мёртвое, застывшее, угаснувшее, отлетевшее когда-то, но вдруг случайно нашедшееся, явившееся из недостижимого далёка, чтобы разыграть перед ней никому не нужную пугалку. Всё было как раз наоборот: часто казалось, что она просто натурально живая, эта смерть, немного, правда, колючая, но при этом совершенно неопасная. Разве что ни потрогать, ни поиграть в салки, ни догнать, ни потолкаться. Ей было около шести, кажется, когда пришло первое осознание своей личности. Но до первой встречи с *этим* ещё предстояло жить годы. Но об этом потом.

Случилось так, что родились соседские гражданские супруги Пётр Иванович и Зинаида в один день и год, равно как в один и тот же час, если исходить из их же обоюдных заверений. И

даже более того – в те же самые первые десять минут, отмотанные сразу по наступлении юридической полуночи. Казалось, отталкиваясь от звёздных положений астрологической науки, так или иначе обожествляемой безумными сторонниками двенадцати животных-апостолов – всех этих раков, рыб, скорпионов, львов и прочих баранов, – проживающие напротив Евиной однушки Пётр и Зинаида должны бы всенепрременно иметь некую схожесть, набор неотделимых одна от другой черт: характер, манеры, близкие друг другу ум или глупость, равную храбрость или же одинаковую готовность к подчинению любым обстоятельствам жизни, либо настолько же схожую от всего этого отдалённость. Да и сама жизнь, будучи заточенной под звёздный символ веры, просто обязана выявлять родственные закономерности собственного проживания: в неге, отчаянии или же полном и дурном, к примеру, счастья.

Никак не бывало! Чудней разницы, чем между крановщиком Петром Ивановичем и его благоверной Зиной, могло быть только различие меж ангелом, лишённым выпускного полёта за совершённые попутные грехи, и бесом, дополнительно награждённым раскалённой сковородой за проявленные им очаровательные безумства, вовлекшие с десятков неокрепших разумов в игры света и тени. Последние, к слову сказать, одолевают там первых, само собой. «Мы с Зинкой моей такие же похожие, как гомосек и дровосек, – беззлобно шутил крановщик, лишний раз доказывая бесхребетность звёздного постулата, – а ничего, живём помаленьку, не жалуемся друг на дружку, хоть для взаимности оно всегда дефицитней...»

«Итак... – продолжала размышлять Ева Александровна, – коль скоро они так непохожи, то какого же ищут единства в мужней чесотке и жениной раздражительности. И при чём тут это небо в разрезе твёрдых и газообразных скоплений, отрабатывающих свои неприкаемые орбиты миллионами одинаково скучных лет?...» И шла в своих раздумьях дальше. Она была Рыбой, если верить условно сочинённому кем-то зодиак. И она ему не доверяла, этому скопищу причудливо вообразённых затей. Точней сказать, не верила вовсе. Исходя из нажитого человечеством астрологического опыта, те, кто Рыбы, обычно имеют самые честные намерения, но в то же время не ожидают встретить их в других людях. Они снисходительны к ошибкам. Они любят красоту природы. Они как бы обретают знания подсознательно и часто констатируют факты и истины, какие сами же до конца не осмыслили, но которые всё равно окажутся правдой. У них сильно развито чувство юмора. Часто они слишком добросовестны в работе, но они же должны и учиться быть более методичными и организованными. Так же они должны больше верить в себя и в свои способности, доверять своей интуиции. Они сочувственно относятся к недостаткам, но они не могут, вернее, не хотят видеть и даже слышать о страданиях других...

С одной стороны, многое сходилось. Вообще говоря, почти всё. Да, это была она, Ева. Разве за исключением того, что честные намерения Ева Александровна, в отличие от прочих правоверных Рыб, была готова обнаружить и в других людях. С воодушевлением готова, неподкупно. Люди в первооснове своей всегда лучше, чем становятся потом, – именно так ей представлялось. А могли бы становиться ещё лучше, если бы владели *знанием*, а не делались просто примитивными заложниками этих идиотских планет и их никем не выверенных странноватых орбит. Ну по крайней мере, были бы опасливей в нужном месте, настороженней в неприятной ситуации, податливей в случае нужды слегка прогнуться под грузом обстоятельств, пускай даже вполне житейского свойства. А заодно, пускай и вынужденно, быть добрей: отдадут лишний раз, а не возьмут, как привычней. «Кто бы это знал, кроме меня», – с искренним сожалением думала она, сталкиваясь с необъяснимыми на первый взгляд вещами. Да и сама себе в ту пору ещё многое толком не умела объяснить. Однако чувствовала. Чувала уже. И не Рыбой – зрелой ищейской собакой.

С Рыбами и прочим зверьём, как и с остальными неживотными знаками и чередующимися раз в дюжину лет годами-паразитами китайской выделки, было покончено, не успев толком начаться. Со всеми этими циклично напоздающими змеями и нечистыми свиньями,

сомнительными уже в силу самого факта присутствия их в деле постижения вещей жизненных, прогностически важных, как и видений, предсказаний судеб и прочего сущностного, вполне себе земного, понятного, привычно заполняющего русло давно знакомой реки, ведомой природной силой от истока к устью. Туда же ухнули и все остальные неприкаянные кролики, крысы и петухи, то сочетающиеся с разгневанными тиграми, то избегающие в какой-то год подпасть под бойкое лошадиное копыто, а то с превеликим удовольствием настраивающие себя на удачу в паре с краснозадой обезьяной или же бугристым, никому не родственным драконом от совершенно чуждых разуму, никому не ведомых земель. И вообще, почему именно они, а не другие? Где, к слову сказать, медведи, беркуты, бабочки? Где слоны, наконец? Где, скажите на милость, тарантулы и ламантины, белочки и жуки-навозники, дождевые черви и трепетная лань?

Она уже тогда знала про себя, что гадиной и раньше не была, и теперь не стала, чего не могла с уверенностью сказать о них – о тех, с кем поначалу оказалась в детприёмнике, после чего какое-то время росла в доме малютки, а уж затем, принудительно обзаводясь по пути дурными манерами, воспитывалась в детдоме номер семнадцать, что своим гниющим фундаментом просаживался со скоростью три сантиметра в год в рыхлый суглинок, обильно залегающий у края Московской области, переходящей в начало Калужской. Отметим, что дурные манеры к ней так и не пристали, невзирая на то что вся обстановка изначально к тому располагала. Дети больше резвились, чем воспитывались, обретая по ходу дела способы выживания в условиях, приближенных к эпидемийным. Многие за годы своего взросления там же успевали обрести новыми для себя хворями, в том числе душевного свойства – это когда нехватка всё того же душевного витамина всецело компенсируется противопоставлением себя порядку, заведённому бездушной взрослой обслугой. Педагоги же, чаще просто закрывая глаза, избегали излишних хлопот по части совести и долга, не утруждаясь прямыми воспитательскими обязанностями. Она уже к середине детдомовских лет знала, кто и как ворует, а кто всего лишь подворовывает, борясь с искушением, но не умея его одолеть. Молчала, давила в себе подобные открытия, неприятные, но в очередной раз знакомившие её с окружающим миром. Однако, не желая вступать с этим миром в явное противоречие, придумала для себя так: она всё ещё не до конца уверена в том, что это *знание*, а не всего лишь предположение, и потому пусть всё идёт так, как идёт, и продолжается до тех пор, пока не сделается совершенно невозможным. Эта точка нетерпимости и станет определять параметры её будущего существования среди обычных людей, других, в сущности своей – заурядных слепцов. Граница же обозначится сама, и не по чьей-то прихоти, а в силу разумных и объективных обстоятельств.

Слова эти рассудительные вываливались наружу как-то сами, отбираясь неким внутренним слухом, особым ухом, будто хитрую машинку высокой чуткости встроили Еве Александровне в барабанную перепонку в момент рождения – там же, на песчаном берегу водоёма, на который завалилась её мёртвая мать, о чём она, сирота по рождению, до поры до времени не ведала. Никто ничего специально не подсовывал, не вкладывал в детскую голову, подметив незаурядную способность впитывать и отзываться на всякое точное слово или странный поступок. Никто ничему такому не учил. Наоборот, ограничивали детдомовское ученье лишь самым необходимым, порой до ненависти примитивным, выбрасывая воспитанников во взрослую жизнь с одним лишь багажом: сезонный проездной, паспорт, казённые рейтузы и фальшивая очередь на несуществующее сиротское жильё.

Её личный выброс пришелся на год 1998-й, сразу же ставший пустым и нищим, кризисным, обошедшийся на этот раз без крови, но в очередной раз сделавшийся безразмерным по способам выживания многообразных сил внутри одного и того же народа. Повсеместное кусочничество и прямое воровство, процветавшие всегда, постепенно привели детдом к полному упадку, но в тот год она уже заканчивала срок пребывания. Помнится, перед тем как покинуть своё пристанище навсегда, упредила их, начальников своего отрочества: завалится это престарелое строение в течение двух ближайших дней, примите неотложные меры, очень-

очень прошу вас, люди мои дорогие, будут смерти, и не одна. *Виделось* ей так, хотя и не огласила раньше времени, – от десяти до пятнадцати трупов плюс к тому около сорока покалеченных воспитанников.

Отмахнулись, надсмеялись, крутанули рукой у головы. Двое синхронно повертели у правого виска, одна – злобно прошипела и послала, четвертый – заржал, заведя глаза под потолок. Вид потолка, как и раньше, целиком состоял из длинных и коротких трещин, в промежутках которых зияли язвы из ломаной, сыплющейся на голову и по большей части сгнившей дранки. Раньше это была обычная крупнозернистая строительная пыль вперемешку со щепой. Теперь же осыпь, что наблюдалась по мелочи, прекратилась, будто и не было никогда. Строение словно подобралось, сжалось, как бы прощаясь с годами жизни в многолетнем неприглядии и тоске, отрешившись от последней попытки оказать сопротивление силам злой природы. Центральная несущая балка прогнулась, достигнув последней точки терпения, дранка натянулась и прощально скрипнула всей поверхностью потолка. Оттого и прекратилась извечная пыль, задержанная этим натягом перед смертельным обрушением перекрытий. Ева не всматривалась, как не уловила она тогда и прощальных звуков дома, в котором выучилась жить одна, без кого-либо рядом. Одно слово – хромая, кривоножка, тренога, ходячий игрек, вечная целка – полторы ноги, тройная мандавошка, палка-недавалка и всё похожее на то. К тому же нелюбимая, потому что уродка. Было б ещё лицо какое-никакое приятное, повышенной глазастости, к примеру, или же хотя бы приветное пацанам для игры в подмиги и намёки. А оно – так себе, ничего выдающегося, всё усреднённое, без лишней игривости и сладкого жеманства, без надутых пухлых губок и попыток прикинуть лицо дурочкой, шмыгнуть носом и намекаательно скосить глаза в сторону раннего интереса. Ну, кабы ещё пацанкой была, в смысле характера, боевитости, или, допустим, палкой своей хромой оттянула б кого вдоль хребтины – так ещё можно бы поржать за компанию, матюкнуться хотя б, если ловко удар ляжет, с натуральной оттяжкой, без паучьей робости да слюнявой жалостливости. А так... ни под юбку даже зыркнуть неохота, ни за сиську лишний раз плечом зацепить, чтоб примялось там и откачнулось обратно, а после б сглотнуть в удовольствие. И худющая к тому же, как её же другая нога, нездоровая. Девки видали, рассказывали: что внизу, что сверху, сразу после жопы, везде тонкое какое-то, без мяса почти и обтянутое кожей не по-людски, натуго. Только коленка круглой шишкой торчит, кажется, вот-вот разлопнется на две половинки и каждая при своей полуноге останется. Тьфу!

Это часть уже была чистой ложью, но вдумываться в такое никто не собирался, удобней было верить и продолжать шпынять. Так и приковыляла в тот день в учительскую, опираясь на палку эту чёртову, вновь слова свои сказать, ещё раз выкрикнуть их, упредить. Но уже знала, что всё равно не достучится, уже отчётливо *видела*, что не избежать на этот раз смерти. Смертей. Хоть завались тут на пол и демонстрируй всем этим равнодушным воспитателям лживую падучую: ори не ори – не доорёшься. Ужас был в том, что не сомневалась в своей правоте. Знала так, как лучше знать невозможно. Уже представляла всё в деталях, пока готовилась к ужасу, к первому своему, когда доподлинно знаешь, а только поделаться ничего нельзя. И нет такой силы, чтоб неизбежное отменить. И нет способа убедить, чтобы поверили и не послали. Потом уже, через время, немного свыклась с этим удивительным состоянием, сложенным из самого примитивного страха и тупой безнадёги внутри собственного организма.

На другой день он случился, ужас этот, что ждала. Выбралась из здания минут за пять до катастрофы – успеть отхромать дальше, чтобы не задело. И стала ждать и смотреть, обхватив горло руками. Но только ещё не знала, что вживую всё окажется намного страшней того самого ужаса, увиденного до реального события, когда валилась крыша, давя по пути все дышащее, живущее, пульсирующее... И как, оглушительно звеня, лопались стёкла, выдавливаясь крупными, остриём вперёд, кусками в детдомовский палисадник, как внезапно заорали живые люди, и она, поражённая увиденным, уже не умела разобрать, отличить, какие голоса детские, а какие учительские, взрослые, ещё более страшные. После звуки смешались. Те,

что исходили изнутри, соединились с другими, шедшими снаружи; образовался единый вой, с редкими выкриками отчаяния и предсмертными стонами, доносившимися из-под обломков подростково-воспитательного учреждения № 17 Малоярославецкого района. Те двое, что синхронно вертели у головы, так и остались внутри, под рухнувшим перекрытием, навсегда. Той, которая отмахнулась, раздавило часть левой ноги с прихватом коленной чашечки – эту невозвратно убитую часть сутками позже отняли калужские хирурги, образовав неаккуратную культю ощутимо выше бывшего колена. А последний, который ржал, отделался порезами на лице от осколков разбитого стекла. Получилось довольно справедливо, однако эта нехорошая мысль добралась до черепной коробки уже потом, когда сознавать правоту подобной ценой стало окончательно невыносимо. Это если не считать четырнадцати воспитанников, так никогда и не узнавших, как заваривать чай и каким рукотворным приёмом следует отделять мякоть селедки от её же неудобного хребта.

Помнилась долго ещё картинка та, плохо растворяясь в памяти: лишь годы последующей жизни несколько освободили Еву Александровну от зрелища того рухнувшего дома на окраине Малоярославца, где закончилось её нехорошее детство. Всё было как в замедленном цветном кино, но только снятом по-любительски, через вуаль серого паскудного тумана. В итоге – нечто бурое, но в отчётливом фокусе и без посторонних включений и размывов.

Это и стало первой настоящей мёртво-живой лентой. Фильмом-смертью, где дубль два была сама она, самая суть её, внезапно открывшаяся Еве со всей беспощадностью. Её очередное чудо и её же первая грандиозная оторопь – всё одновременно. Что-то зародилось в ней именно в тот день, а что-то разом ушло, усохнув, лопнув, словно отбывшая свой срок потолочная дранка, и переродившись в нечто иное, основательное, уверенное в себе, не подчинённое напрямую голове.

Сказать, что дом, в котором проживала незамужняя одиночка Ева Александровна Иванова, находился недалеко от места её службы, означало выразить совсем пустое или же просто ничего. Чтобы попасть ко времени, приходилось выходить из дому как минимум за час сорок или даже пятьдесят. Первый отрезок пути, до автобусной остановки, был максимально неприятным, хотя и не самым трудным, поскольку дело было утренним и нездоровая нога ещё не успевала к этому времени набрать ноющей усталости. Пол-отрезка уходило на первый неспешный разогрев, когда кровь в своих болезненных циркуляциях постепенно опускалась ниже, ближе к ступне, прихватывая и разминая по пути сначала бедро, затем окружая область вокруг колена и уже после этого, придав какой-никакой бодрости верхней половине конечности, окончательно достреливала до нижней точки стопы, отогревая и пощипывая иголками кончик большого пальца. Такое случалось всегда в одно и то же время – где-то между местной булочной и небольшим галантерейным магазинчиком, в котором денно и нощно, без перерывов на обед, отдых и любой народный праздник, трудилась вежливая супружеская пара белорусских наймитов под хозяйским началом Фариды, азербайджанца без статуса и регистрации. То, что Фарид не нуждался в статусе, Ева знала и так, да и сами белорусы не скрывали этого факта: вепрь не нуждается в защите, он и так под вечным покровом тёмных небес. Однако, в отличие от прочих здешних приобретателей ниток и тесьмы, Ева Александровна вполне конкретно могла описать и самого крышевателя незаконного бизнеса: что-то такое полицейское, звёздочек – около четырёх, все маленькие, лоб – прыщеватый, лет – сорок пять туда-сюда, ботинки не чищены, шнурки не затянуты, кобура вечно пустая из-за опасения утраты средства оказания справедливости по причине высокой склонности к употреблению. По всему выходило: участковый, капитан Сулеймин Николай. И его ей, несмотря ни на что, было жаль, поскольку наслаждаться свободой тому оставалось около пяти месяцев, и никак не больше. Такая *шла* картинка. Затем его ждала уголовная статья: что-то связанное с незаконным обогащением в результате прямого должностного преступления и подлога, но не в связи с белорусами. Те потом уедут, кажется, в Краснодар или куда-то неподалёку. Ева не могла сказать точнее, *видела* разве что тёплую

погоду и памятник Екатерине Второй в Екатерининском сквере – прочитала, взглядевшись, на постаменте. Уедут они, знала, сразу после ареста Сулемина, прихватив наличность из кассы, как, впрочем, не побрезговав и всем остальным материальным запасом по состоянию на день катастрофы. Решили для себя: раз бог обещал, но подвёл, то, стало быть, не возбраняется. Она знала и это, однако предупреждать супругов не пошла: слегка обиделась на такой их двойной грех. Про Сулемина, единожды пожалев, просто больше не вспомнила совсем: не приветствовала подобный человеческий типаж, по умолчанию.

После булочной начинался второй отрезок до автобуса, заключительный и уже вполне терпимый. Обе ноги практически выравнивались в смысле циркуляций, оставалось лишь оказывать материнское содействие одной из них, перенося часть веса на палку и чуть с избытком подгружая другую.

Дальше – всегда стояла, уже автобусом, все двадцать четыре минуты трясуемого путешествия плюс от двенадцати до пятнадцати минут ожидания транспорта. Несмотря на палку, под козырёк обычно не впускали, небольшое, защищённое от дождя пространство, как правило, ещё до неё было забито схожими страдальцами. Если шёл дождь, она просто поднимала капюшон и стояла так, нахохлившись, глядя, по обыкновению, в сторону от остановки и принуждая себя думать о чём-то совсем постороннем. Например, о Веласкесе. Иначе выходило дурно: пришлось бы, хочешь не хочешь, вслушиваться, всматриваться в сосредоточенно молчащих людей, которые вот-вот разделят с ней очередную общую территорию неудобства, и тогда она уже более не сумеет держать себя в состоянии равнодушного нейтралитета, непременно выскажется уважительно и негромко в один-другой незнакомый адрес. Кому-то посоветует остерегаться, потому что осталось дней пять, не больше, кому-то – плюнуть на гордыню и набрать мамин номер, похоронив, пока не поздно, обиду пятилетней выдержки. Но всё будет как всегда: первый – отшарахнется, другая – упрётся удивлёнными глазами, в которых поначалу высветится злобное недовольство, после чего обозначится лёгкая задумчивость, которую, впрочем, тут же заменит привычная раздражённость всей этой незваной бесовщиной. В результате в лучшем случае не отреагируют, при дежурном раскладе – пошлют и отвернутся, в худшем варианте – плюнут или замахнутся, покушаясь на удар. Обычное дело, чего уж там. Ну а потом, как всегда, никто не подаст руку, когда уже выходить у метро. Редко найдется доброхот из нечестных культурных, кто-нибудь из обитателей её депрессивного района Товарное, что своим восточным краем упирается в зловонную МКАД и оттого делает проживающий в нём контингент недобрым и усталым.

Если становилось ветрено, но сухо – было хорошо. Ветра Ева Александровна не опасалась, ветер был ей друг, она это знала точно, но только вот никак не удавалось ей разгадать эту удивительную загадку. У ветра был запах, всякий раз отличавшийся от вчерашнего, и лишь в редких случаях этот странный друг, надав до упора, напоминал ей из не знакомого ею собственного прошлого нечто знакомое, но уже невосвратно иссякшее, почти до основания забытое, резкими бросками влажно напыляемых на лицо молекул трепетных воспоминаний.

Иногда пахло васильками, сильно. Она купила их, маленький букетик, первый раз в том году, у метро. И поставила в воду, на окно. Почти сразу же накатила дурнота, и, пока не убрала цветы, не вынесла букетик из квартиры, не метнула перехваченный красной резинкой яркосиний комочек во тьму распахнутого мусорного зева, лучше не становилось. Глаза намокли, как случается со слизистой при воздействии сурового паркетного лака; стало слышно вдруг, как нечто неласковое происходит внутри, где-то за рёбрами, слева от середины. Там билось учащённо и тревожно, и это было непривычно. Чуть погода отпустило, но этот волнующий, василькового колера запах накрепко врос в память и ещё долго не отпускал. Затем, по прошествии лет, он уже лишь слабо волновал её, почти не напоминая о накатившей тревоге и полувившемся сердечном неудобстве. Тем не менее букетики у метро отныне стали запретными, как и мысленные, время от времени, возвращения к этой странной, совершенно необъясни-

мой ситуации. В какой-то момент даже собралась стукнуться к Петру Ивановичу, многолетнему аллергомученику, справиться насчёт его чесоточных симптомов: не от цветов ли этот зуд его непроходящий. Потом передумала, решила, что коль уж обнаружатся какие-никакие растительные резоны в квартире напротив, то уж наверняка не эти, невидные, небогатые, позорно малого по-студенчески размера.

Тут же всплыл Винсент, что в мае экспонировался в третьем зале, с его «Вазой с маками, хризантемами, пионами и васильками», письма вроде бы середины восьмидесятых того самого века. Сразу у двери был вывешен. Там их всего-то ничего, синеньких, топорщащихся сквозь обильные маки – алые, убойные, крикливые. И немного хризантем – тихих, сдержанных, неброских, нежных, почти неотличимых от садовых ромашек. Она почитала, конечно, и «до» полистала, и после выставки той насчёт цветочных вангоговских пристрастий, и обнаружила, что маки – слабость его, самоубийцы, как и пионы. Но только не поверила писанному в буклете, предпочла собственное видение, личное, которое тут же *пошло* картинкой устойчивой и твёрдой, особенно в тот момент, когда неприметно коснулась холста, тронула пальцем драгоценный масляный бугорок. И будто включилась видеозапись, без помех, на медленной перемотке, но так, что глаз легко успевал засечь искомое. Третий-то – её зал, её самбй, она смотрительницей там все последние годы. А до того ниже этажом была, на первом «плоском» смотрительствовала, в зале сменных коллекций, каждая от полугода до года: успевала всякий раз вжиться, всмотреться, сродниться. Тут же – накоротке: три недели без продления – всё, обратно поехали, на родину, голландца радовать да баловать, что в Крёллер-Мюллер захаживает, музей тамошний.

Так вот, ничего подобного: просто брал и использовал Винсент, наполняя гамму, не более того, – это если о маках и пионах. Эксплуатировал колер – всё. А заходил-то от васильков как раз, конкретно, до одури. Это если не брать в расчёт подсолнухов, о которых писано-переписано, и всё – правда. Эта часть сходилась и сомнений не вызвала, никаких, ни разу. Тут же было не так: разъехался образ и факт, довольно сильно, разорвалась где-то связь времён, а может, ещё и по недомыслию вышло либо в силу чьего-то привычного исторического наплевательства. Но главное, что обмирал, нежничал с ними, гладил, подправлял бесконечно, нарочито не выпячивал, отдалял всегда от первого плана, удвигал ближе к периферии, чтобы тайну побережь, чтоб не так броско работали на глаз, чтоб притягивали к себе лишь внимательного, вдумчивого, осторожного во мнениях, чуткого до таинства, предпочёвшего звонкой ярмарке скромные её же зады, дворы, неглавные проходы и несильные по цвету промежутки неторговых рядов.

Глаза прикрывала после, уже когда на стул свой возвращалась, что между третьим залом, большеразмерным, и вторым, скромным, проходным. Дальше картинка текла фрагментарно, то удаляясь расстоянием, а то наезжая фокусом, даря детали, часто смазанные, но зато понятные, от которых уже вполне можно строить изображение дальше. Затем – так нередко бывало – изображение делилось надвое, натрое, как в сведённом воедино общем экране, и везде присутствовал сам он, художник, творец: узколобый, крутоскулый, рыжебородый, с щелеобразными прорезями глаз, с рельефными чертами лица – чисто неандерталец, прекрасный и далёкий, из ущелья Неандерталь. До тех далёких времен, палеозойских, не к ночи будет сказано, или каких-то там кайнозойских эр ни воображение, ни тем более *знание* Евы Александровны уже не доставало, ограничивая мысленную работу предметами, реально достижимыми, по возможности живыми, из эпох недавних, от времён понятно близких и потому вполне добываемых её необъяснимым колдовским даром.

Однако был среди множества прочих неудобных факторов один благоприятный, если вернуться к теме и истинно вообразить себе, как ежедневно приходилось Еве Александровне перемещаться по маршруту Товарное – Государственный музей живописи и искусства – и обратно. Сразу после холоднящего, если зимой, или потного, в летнем варианте, городского

автобуса начиналась подземка. Первая пересадка, которая на кольцо, поддавалась ещё более-менее, с разбегу, всё ещё едучи на волне, разогнанной прямоходным получасовым перегоном от конечной до пересадочной. Вторая бралась уже затратно, с приложением заметных организму мук. Особенно такое ощущалось нездоровой Евиной ногой на протяжённом пешем отрезке от точки промежуточной высадки – и далее под чувствительным углом – до завершающей посадки в вагон. Палка – не способствовала. Скорее она же вызывала подозрительную ненависть к этой вполне молодой ещё женщине, не сумевшей отчего-то противостоять своей, скорей всего, притворной хромоте и предпочёвшей, судя по всему, избрать для себя раздражающий окружающих инвалидский статус. Наивысшая точка ненависти к хромоногой ощущалась ближе к середине перехода, как раз под золочёной барочной люстрой, тускло нависающей над однородной озабоченной толпой, сплошь в это время суток состоящей из унылого, но целево ориентированного люда. В такие минуты Иванова не включалась. Хитрое ухо, как и вращённый куда-то ниже уровня слуха механизм, спали, даже слабо не реагируя на сигналы из толпы. Разве что иногда Ева Александровна, ковыляя вверх по наклонной, вяло улавливала спиной особо яростно выпускаемые в её адрес позывные. Однако всегда, отделяя пустоватое от вовсе ненужного, она уже надёжно знала, что ничего, кроме порожней подпитки, расшифровка их не даст – лишь отхватит шмат дарованных природой сил и тут же выплюнет его в обратную бесконечность. В редких случаях, однако, нестерпимо хотелось, одолев привычную сдержанность, резко развернуться, вжать рукоять палки под локоть и, энергично растерев ладони одна о другую, выставить их навстречу сигнальщику, нащупывая тамошние беды. И тут же, учуяв на той стороне беспокойные дела, выкрикнуть ему навстречу про всё, что он есть, про чудовищно злые неприятности, вот-вот готовые обвалиться на голову самого его и ближайшего к нему родственного окружения. Или – радости, кабы таковые готовы были случиться. Но это больше оставалось в мечтах – насчёт радостных извещений.

Однажды всё же не сдержалась – так довёл её. Спешил очень, по встречному пути, под гору перехода. Опору её вышиб, скорей всего, по случайности, зацепив ногой. Однако не тормознул, палку отлетевшую не поднял, извинений не принёс, спиной не дрогнул. Даже малость траекторию не изменил, перец деловой. Ну, она ему вслед тогда и назначила, что в таких случаях назначать положено. Вдогонку. И уверена осталась, что попала, мало не покажется, – а после догнала и шёпотом ему добила, и ещё взглядом мазнула, аж пятно на спине вражеской расплылось, ей одной видное, больше никому. После, правда, пожалела о тогдашней своей несдержанности, но и, к слову сказать, случилось такое всего единожды за всё время этих утомительных переходов её от станции к станции. А это, как ни крути, самым больным местом было всегда, объективно, в силу утренней перегрузки радиальных линий разновсякими метропассажирами.

Последний этап её хромого путешествия не менялся годами и, будучи просчитан до мелочей, опасности уже не представлял. Своей широкой резиновой оконечностью палка уверенно отталкивалась от твёрдой поверхности городской земли, даже если и попадала в шов между соседними плитками, на которую по воле недоброго рока заменили извечный асфальт московского центра. Всё про всё – восемнадцать последних минут, и Ева Александровна Иванова, смотритель со стажем, несмотря на молодой возраст и вид, оказывалась у неглавных музейных дверей.

У служебного входа росли липы. Слева и справа, по две с каждой стороны от дверей. Взрощены они были неравноценно, и это было несправедливо. Левые, сердцевидные, когда лето достигало самого разгара, зацветали густо и сладко, образуя вокруг музейного входа ароматную завесу медовой сыты. Кроны обеих, бледно-золотистые, широкие, будто надутые изнутри, тянули ветви к земле, словно приглашая отведать липового нектара, обильно сочащегося из упитанных цветков, что пышной бахромой окаймляли до крайности согнутые ветви. Правые, однако, вели себя иначе. В те же самые дни, напитанные ароматом слева, они, каза-

лось, не только не добавляли силы собственного цветения в воздух возле музейных дверей, а наоборот, всем своим видом угнетающе действовали на персонал, обслуживающий живопись и искусство. Ни пышностью крон, ни силой благовоний, выпускаемых чашелистиками, правые липы не выделялись. Листья, пожухшие раньше срока, сворачивались в некрасивые трубочки и болтались по ветру угрюмыми висюльками. На стволах образовывались трещины по всей поверхности, кора сохла и, шелушась, отслаивалась и валилась на землю, заполняя собой пространство меж корней. Неприятность была общей, загадка оставалась неразрешённой.

Тайну лип Ева разгадала в тот же самый момент, когда невольно дала себе команду задуматься над проблемой. Левые липы всё ещё ограждал низенький кованый заборчик, чудом уцелевший и, как видно, оставшийся от прошлых, условно культурных времён. Правые, полудохлые, стояли просто так, неприкрыто, – другую оградку давно уж выдернули, быть может ещё в самом начале их липового возмужания, создав таким образом свободный подход к деревьям со стороны переулочного тротуара. Причина, казалось, имелась налицо, да только никто, кроме смотрительницы из третьего зала, не дотумкал. И сама не догадалась – *увидела*, растерев ладони и коснувшись обеими сухой коры: вначале на стволе, затем у самых корней. Перечислять их, как и описывать, она не стала, поскольку ночных мочеиспускателей-визитёров набиралось количеством с укомплектованный кавалерийский полк, если подсчитать за последние годы, с момента, когда началось увядание правых стволов, доступ к которым был никак и ничем не ограничен для прохожего ночного люда. Вот и мочеиспускались, годами и ночами, окропляя губительным кислотным дождём корни, какие взращивались без огородки, справа. Директриса, помнится, премию выписала ей за догадку, первый и единственный раз за всю смотрительскую карьеру. При всём остальном и разном, равнодушной оказалась к липовому цветению, чего не скажешь о ней же в отношении живого музейного контингента. Тогда же Иванова сделала для себя важный вывод: отпущенный ей дар распространяется не только и не исключительно на человеческое, но и на растительное, которое отныне можно и должно держать за такое же самое. Потом уже, проев срамную премию эту, она ещё раз чувствительно поддержала правые деревья, тайно ото всех, после того как их уже огородили, отделив такой же самой кованой высотой, какая имелась слева. Уговорила выжить, не поддаться смертельной кислой среде, собрать все свои деревянные силы и, загнав их под сохнущую кожу в твёрдый ещё ствол, разом выпустить наружу. Начать всё заново, будто ничего не было. Выдохнуть дурное, скинуть шелуху, заодно избавившись и от иссушённых болезнями висюлек.

Через два сезона кроны зазолотились, правые цветы набухли не хуже левых, медовый дух выпустился на волю, насытив собою воздух и с другой стороны от дверей. Состоялось, в общем. Плюс к тому камеру установили, от входа – на переулок, чтоб ссателей засекать и гонять. Сама же Ева после того расчудесного спасения ещё долго, вплоть до самых холодов, не спускала с тех лип глаз, зорко отслеживая процесс перерождения правых в левые.

Служба в музее начиналась в десять утра и заканчивалась строго в шесть, всегда, невзирая ни на какие художественные особенности процесса познания прекрасного. Последний посетитель вежливо приглашался к выходу из музейного зала, и ни разу за все годы службы Еве Александровне не довелось даже слегка повысить голос или же применить предусмотренные инструкцией меры по выпроваживанию запоздалых ценителей искусства. Переработки, авралы, та или другая необходимость выяснять отношения с руководством – всё это существовало отдельно от смотрительницы Ивановой, осаживаясь в каких-то иных эмпиреях, недосягаемо отделённых от неё чинами, должностями и неизвестного расположения кабинетами. Её дело было коротким и понятным: встретить гостя доброжелательным взглядом, отследить перемещение по залу, чутко бдя в смысле недобрых намерений, и мягким кивком головы передать соседнему зрителю, произведя напоследок прощальную улыбку, не менее дружелюбную, нежели встречную. Всё. А за пятнадцать минут до финала наслаждения оторвать тело от стула и, вооружившись палкой, предупредительно отработать вежливый периметр, деликатно

намекая посетителям на приближение часа убытия. После чего надлежало пройти в гардеробную, чтобы сменить музейный прикид на своё, обычное, земное. Серый безрукавный жакет и юбку ацетатного шёлка Ева Александровна аккуратно пристраивала на плечики, которые помещала в персональную ячейку. Там же укрывались неизменно белая блузка с широким отложным воротом и фирменный шарфик с чёрно-белым музейным логотипом по концам и цветным принтом здания музея по центру ткани. Форменная юбка была довольно длинной, и этот приятный факт удачным образом маскировал едва заметное постороннему глазу утончение нехорошей ноги. Однако дважды на дню эту несовершенную деталь всё же приходилось предъявлять товаркам по искусству.

Неловкость всякий раз начиналась, когда, опустившись на служебную лавочку, Ева скидывала чёрные лаковые туфельки с серым коленкоровым бантом, тоже казённые, и начинала освобождать себя от нижнего атрибута форменного шёлкового комплекта. Первым делом она выпрастывала здоровое бедро, являя соседкам по раздевалке вполне приемлемую форму и линию своей безукоризненно правильной ноги, после чего, стыдливо зыряка по сторонам, урывками тянула вниз остальное, тут же прикрывая загодя снятым жакетом открывшееся несовершенство. Подобная перестраховка обычно оставалась не замеченной никем, кроме неё самой, но это и было её слабое место, и оно же заставляло смотрительницу Иванову немало страдать. Брюки, длинные юбки, бесформенные, чаще грубой фактуры, платья – извечный её вариант. Попытка укрыть дефект, уход от неизбежной реальности с помощью незатейливых приёмов – большего, чем скромный по деньгам привычный маскарад, придумать в этом смысле не получалось. Остальные же возмещения как надо не работали, и основное дело – оно же пространство дара, чаще используемого не по делу, – так и продолжало жить скучно и тайно, не покидая, за редким исключением, периметра однушки в предкадовском Товарном.

Вообще, каждый раз оглядывая себя в рост, сначала фронтально, а затем и сзади, насколько удавалось скашивать глаза, Ева Александровна приходила к выводу, почти всегда огорчительному. Малоутешительным было и то, что нижняя её часть своим женским качеством заметно отставала от верхней в силу причин, не зависящих от природы напрямую, но коль уж так случилось в жизни, то отчего остальное женское – нередко размышляла она – не вызывает трепетного интереса мужчин, которые не в курсе нижней половины? И сама же отвечала на свой вопрос: просто они боятся попутных разоблачений, предчувствуя каким-то своим собачьим рентгеном эту мою ущербность.

Рентген, впрочем, имелся и собственный. И на самом деле был он силён, не угасая по мере взросления Евы Александровны, а ровно наоборот: с годами и событиями лишь дополнительно накапливал пронзительной и необратимой силы. Да и то сказать, опыт, крайне невеликий в деле использования своих умений, Иванова старалась не разбазаривать по-пустому, всякий раз тормозя себя в желаниях вмешаться в чью-то ситуацию или судьбу. Вот и теперь, вступив в храм искусства за минуты перед десятью утра, во вспомогательный отсек, где надлежало привычно сменить образ с вымотанного подземкой раздражённого путника на благочестивого зрителя за изящным, она первым делом огляделась.

Помещение раздевалки было немаленьким. Раньше, ещё задолго до революции, в нём размещался каретный сарай, который впоследствии был соединён обогреваемой стеклянной галереей с основным корпусом городской усадьбы, со временем сделавшейся музеем. В отличие от искусствоведов, когда-то занимавшихся исследованием здания, ставшего незадолго до октябрьского переворота даром городу под культурные нужды, Ева достоверно знала, в какой период времени и какие части здания подверглись практически полной перестройке, а какие сохранили изначальный вид. Она любила этот дом, со всеми его художественными закоулками, протяжёнными коридорами, чудными изгибами многочисленных ответвлений, исходящих от главного корпуса и сливающихся в конце пути в неожиданно общее русло. Да и тайн своих хватало тоже. Запасники, берущие начало в пространствах «саркофага» – промежуточного

полуподвала, – далее уходили вниз, занимая два нижних уровня, и уже под землёй широко раскидывались многометровыми площадями, выходя за рамки периметра основного здания музея. Допуск туда был строго ограничен, однако всё же возможен в особых случаях для отдельных сотрудников, не имеющих нужды бывать там по прямой служебной надобности. Так бывало порой, когда случалась внеплановая выставка, приуроченная к тому или иному государственному событию, которое отчего-то объявлялось народу внезапно, и по этой причине его требовалось культурно укрепить по возможности богатой и дружески ориентированной экспозицией конкретной направленности. На памяти Евы Александровны такое имело место дважды. В первый раз случилось, когда традиционно нетипическая для французских президентов жена-модель в ходе официального визита своего супруга выразила неплановое желание ознакомиться с неизвестным широкой общественности наследием французских мастеров, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая модной современностью. И лучше, если из запасников, – свежий взгляд, так сказать, неизъезженные тропы, дух нетронутых аур, открытия и загадки разновсяких времён. Просто обмолвилась, между делом, не выпуская из руки бокала с шампанским, – просто намекательно пошутила, типа того. Однако этого хватило, чтобы поставить на уши всех. Включая зрителя Иванову и директора музея Всесвятскую. Саму Ирэн Петровну. Бабушку и матрону.

Последующие сутки никто не сомкнул глаз. Во избежание малейшего сбоя, режим контроля за выдачей, выносом из хранилищ и развеской драгоценных полотен был усилен путём привлечения непрофильных сотрудников музея. Всесвятская была в предынсульте, но из администрации Кремля позвонили, напрямую, минуя Минкульт, и предупредили об ответственности вплоть до крайних мер. Сказали, чтоб всенепременно побольше старых мастеров: Возрождение это самое и всякое такое с этим связанное. Плюс к тому намекнули, что и прочими эпохами надо бы расширить и всяко наполнить содержание внеочередной экспозиции. И тут же продиктовали по бумажке, чтобы сразу с колёс – в дело. Видно, уже имели совет от нужных людей: импрессионизм, постимпрессионизм, неоимпрессионизм, символизм, ар-нуво, фовизм, кубизм, футуризм, абстракция, функционализм, дадаизм и всё такое по полной программе, чтоб не стыдно за отчизну и во исполнение пожелания высокой стороны, какая заказала всю эту прогулку по русскому буфету.

Дело в тот раз вытянула первая замша, что по науке, Ираида Михайловна Коробьянкина, взявшая на себя всю тяжесть подготовки мероприятий по встрече высоких фамилий. Умела. Натаскана была, как мало кто, – за это и держали при месте. Вероятно, сказала школа, преподавшая в своё время прапором-отцом. Комплекс недоофицерской дочки на должности при культуре успешно работал на пользу дела, а заодно оставлял лоскут пространства для выработки самомнения. Жаль только, мужик при этом не просматривался правильный, иначе б, наверно, давно перебралась кабинетом выше или должностью подлей. Да и чуйкой нужной, считалось, не обделена была. При этом более чем кто-либо умела нравиться в объёме универсальных запросов. Для беспроегрышности вида предпочитала, как правило, вариант возрожденческий, доводя собственную внешность до состояния псевдоботтичеллиевских профилей, одобренных элементами доходчивого ретро при одновременной маскировке толстозадости и двуличности натуры. Но всё это – если не всматриваться анфас, попутно скашивая весомую часть возраста, а также делая щедрую скидку на угодливость и умение состоять манипулятором-ловкачом при любой верховной власти.

Ева стояла на лестнице между «саркофагом» и первым «каменным», всякий раз помечая у себя, как ей было строжайше наказано: название полотна, время проноса, кто доставляет, кто принял. Аварийно выстроенная цепочка сотрудников была расположена так, чтобы вносимая из недр запасника драгоценность ни на миг не оставалась в поле мёртвой зоны видимости. И потекли, потекли они, голубчики, один шедевр за другим, заныканные, прихороненные, и все мимо глаз её смотрительских: Симон Вуэ, Пуссен, Шарль Лебрен, Жан Антуан Ватто, Франсуа

Буше, Гюбер Робер, Жак-Луи Давид и прочие, прочие великие из Всесвятской «могилы». А чуть погодя – другие, тоже из великих, но уже от иных времён: Моне, Ренуар, Сезанн, Гоген, Боннар, Дени, Матисс, Андре Дерен, Пикассо, Леже, Шагал и тоже прочие и прочие, от просто гениев до больших гениев. Когда проносили Шагала, то на мгновение задержались, руку переменить, – как раз возле неё пришлось. Так она вздрогнула.

Картину унесли, а дрожь не проходила. И после ещё какое-то время не отпускала. Смотрителю Ивановой никак не удавалось распознать собственные ощущения, они были новыми и оттого не укладывались в привычную обойму чувств: не подгонялись по внутриутробному формату, будто мешало нечто, коротко просигналившее, но тут же исчезнувшее вместе с теми двумя подсобниками, один из которых как раз переменил руку, будучи поблизости от неё. Там Шагал был, точно, Марк Захарович, мертвец – это она знала про автора полотна не в силу общеизвестного факта, а как следствие тут же выловленного послания, успевшего начаться от лестницы и влететь в голову в районе затылка. Хотя не слишком было нужно, не настраивалась ведь специально без особой к тому необходимости. Стоп – нужно, раз докатилось! И тут поняла она, зачем, в чём причина беспокойства её и надобность задержать внимание. И сказала самой себе, здесь же у лестницы: «Рука... Ладони прописаны не так, неверно. Обе. Не мог Шагал так прописать, не умел, да и не стал бы, точно. Это не Шагал, это калька его, копия, подмена. И холодом не шарило, как от других картин, стало быть, жив копиист тот, что старался, – впрочем, как и тот посторонний, какой подменял. Жаль, потрогать не довелось, хотя бы до рамы успеть в тот момент дотянуться для короткого касания, но нет, нельзя, не поняли бы жеста, шею б, наверно, свернули, не дай бог...»

И забыла про это дело, заставила себя мысль ту вредную откинуть, уйти от возможного позора, чтоб не выпячиваться избыточной дурой, когда ни о чём таком не просили. Да и как это возможно сказать о руке о той – не Шишкин же, не Перов с его бледной, испещрённой венозными жилами дланью Достоевского. Да и не великий Александр Ив́анов какой-нибудь, если на то пошло. И вообще: писал – не писал, ладонь – туда, ладонь – сюда, мёртвый – живой, плюнет – поцелует, к сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт, – что за происки такие чертей незваных, когда столько прекрасного вокруг! Нет им тут места никому, просто нет и быть не может, они здесь вмиг зачервивеют и сдохнут, в храме подлинного искусства, окропаясь всем этим чудодейственным и прекрасным, как натурально святой водицей. Это я вам говорю, вполне ответственно, – я, хромая ведьма Иванова, колдунья из третьего зала, чёрт бы меня побрал!

Одним словом, закрыла для себя тему. Надолго.

Глава 3

Лев Арсеньевич

Он всегда знал, что их двое, этих Львов, что жили в нём, сосуществуя и деля внутреннюю полость на две неравно устроенные половины. В первой обитал он сам, главный, Лёвушка Алабин, милый и приятный во всех отношениях острословец, знаток и фанат любимого дела, успешный учёный, исследователь русского авангарда и божьим даром педагог. Этого Лёву любили студенты. Его же, кто завистливо, а кто вполне искренне, уважали коллеги. Издатели и редакторы – те просто неподдельно обожали за отсутствие надобности править алабинские тексты, как всегда безупречно грамотные и тщательно выписанные. В них он и правда неизменно подтверждал высокий класс, будто вновь и вновь подкатывал на машине престижной марки с безошибочно выверенным бортовым компьютером, идеально отлаженной и успешно прошедшей непростую обкатку. Был он, ко всему прочему, и примерным сыном своего отца – академика-металлурга, не забывая пару раз в неделю набрать отцовский номер, с тем чтобы вежливо оприветить родителя парой произвольных, но вполне по-родственному выстроенных фраз. Мама, которую Лёва с детства боготворил, ушла из жизни, когда ему стало семнадцать. В то лето он держал экзамены в МГУ. Иногда, вспоминая волосы её и руки, трепетный запах любимого маминого халата, её мягкую, чаще иронически сооружённую в его, сыновий, адрес улыбку, он думал, что другому Лёве, который вовсе не Лёвушка, занявшему, как он теперь понимал, кусочек его законного пространства, быть может, и не нашлось бы места в этом душном соседстве, в вечном соперничестве и противостоянии одной части души его другой, если б мама не ушла так рано.

Его отец так и продолжал жить в том же доме на Фрунзенской набережной, где Лёва родился и где прошла его красивая юность. Затем, отсчитывая курса от третьего, когда уже начал устойчиво зарабатывать, чтобы хватало на самостоятельную и порой вольготную жизнь, он перебрался на съёмную квартиру, неподалёку, чтобы, с одной стороны, не полностью отсохнуть от родного корневища, а с другой – оставить за собой наследные жилые метры, на которых он, если что, мог бы передерживать габаритные и особо ценные предметы.

В этом месте, вероятней всего, и начинался другой сын своего отца, ещё один Лев Алабин, параллельный первому и едва ли перекрещивающийся с ним в иных житейских геометриях. Он же, мудрый ловчила Алабян, отлично образованный и удачливый хитроплёт, вышедший из тех же, как и первый Лев, истфаковских стен, сделался со временем незаменимым промежуточным, толковым посредником в делах тонких и повышено деликатных, научившись, когда необходимо, вовремя дистанцироваться от участия в любой профильной сделке. По этой причине он же нередко и оставался в тени своих громких собратьев по тихому ремеслу.

Прозвище это с игриво-армянским окончанием поначалу дали друзья, после первого успешного дела, о котором сам же он спустя какое-то время им поведал, тайно гордясь собой и не особенно ощущая в этой сомнительной истории изначально нехорошего помысла. Однако помысел такой всё же имелся, но только юный Лев не придавал ему того значения, которое, наверное, придать было должно уже в те его молодые и беспечные годы. Правда, как полагал сам Лёва, имелся в истории той некий искупительный момент, позволявший незрелой совести зацепиться за него, и далее, в зависимости от обстоятельств, эксплуатировать в том или ином виде.

Итак, ему семнадцать, он абитуриент, папа – свежееизбранный академик большой Академии и недавно же назначенный директор НИИ чёрной металлургии. Мама ушла в январе того же года, и к этому печальному моменту ещё не успели остыть стены их дома на набережной, всё ещё источавшие мамину любовь, залитые её смехом, тёплые её памятью.

Именно тогда он в первый и последний раз увидел её. Их. Верней сказать, обнаружил. А если быть совсем точным – засёк. Отца и её, эту самую Темницкую, мать истфаковского студента Женьки Темницкого, натолкнувшись на которого в факультетском коридоре после первого экзамена Лёва едва не сшиб того с ног. В общем, сдал первый экзамен, историю, на отлично. Греция досталась, повезло, уж тут-то был ему простор после тех маминых «Мифов и легенд», облегчённых, напечатанных скорее в виде аляповатых комиксов, нежели всерьёз, излишне цветастых, но и достаточных, чтобы заинтриговать, заманить собою его молодой, пылкий ум. Чуть позднее подросли и другие источники горячего юношеского интереса, уже вполне предметные, без условностей и пустот.

Ну а потом был Роберт Грейвс, англичанин. Книжка его 1955 года, уже со ссылками на античных философов, историков, писателей, солидные авторские комментарии, по сути завершила дело.

Были и другие, тоже не без мифологизации античности, но уже всё по делу, очень и очень серьёзно, для умных и равнодушных, и, как оказалось, не менее увлекательные, чем та войнушка между оловянными, из папиного детства, и современными, облегчённого пластикового содержания, воняющими химией солдатиками, на смену которой, разом перепрыгнув через пустотелые годы, явились античные герои. Между игрушечными солдатами и нынешними героями зияла глухая чёрная дыра.

В тот день он набрал папу, похвастался результатом и сразу же умотал на дачу к приятелю. Без девочек – долбить русский ко второму экзамену. Приехали – там заперто. Нестыковка. Пришлось вернуться – каждый к себе. Вошёл и понял, что дома кто-то есть, хотя быть такого никак не могло: отец заседал в институте, больше ключей не имел никто. Тётя Параша, что приходила из соседнего дома убираться, подгадывала всякий раз под присутствие хозяев: вечно интересовалась, как и чего сготовить, чтобы лишний раз понять для себя, из каких продуктов.

Было тихо, но при этом – он ощутил это кожей затылка – не было полной тишины. Будто некий приглушённый звук, напоминающий чей-то сдавленный всхлип, шёл из дальней комнаты, которой завершался их протяжённый коридор. Там, по соседству с отцовским кабинетом, находилась родительская спальня, теперь – только отцовская. Именно это обстоятельство создавало для источника звука полную невозможность находиться там в отсутствие отца. Лёва отступил на шаг, но, передумав, снова шагнул вперед. Затем продвинулся ещё на пару шагов и вслушался. Было то ли страшно, то ли странно: он никак не мог расшифровать для себя это новое, непривычное ему чувство, когда предвкушение того, что сейчас произойдёт – с ним, с ними? – сделает его, прежнего, уже необратимо другим, отшвырнёт домашнюю привычность на неопределённый кусок времени назад, туда, где ещё жива мама и где отец, занявший теперь и её место, ещё не был им так любим и нужен, насколько стал теперь. Однако особой нужды в неслышном продвижении к отцовской спальне больше не было, потому что внезапно оттуда раздался женский вскрик, притушенный, видно, чьей-то заботливой рукой, и крик этот, ритмично перемежаясь со сдавленными стонами, уже не оставлял сомнений в природе своего происхождения. В спальне стонала женщина, и она явно делала это от страсти и удовольствия, доставляемого ей мужчиной. Оставалось лишь выяснить, кто проник в их с папой жильё и испохабил родительскую постель. Он резко достиг спальни и распахнул дверь, забыв об осторожности. Она и не понадобилась: они были там вдвоём, он и она, сцепившись в отвратительное двуспинное чудовище, его пыхтящий отец и та самая Темницкая – то ли секретарша, то ли научный институтский секретарь. Она заметила Лёву первой, хотя оргазм её ещё не истёк. Будучи придавленной грузным отцовским телом, она всё ещё исторгала из себя последние сиплые звуки, продолжая извиваться в резких конвульсиях.

– Ой! – вскрикнула она и дёрнулась всем телом, пытаясь одновременно сбросить с себя папу, чтобы прикрыться чем попадя и провалиться от стыда куда-то в пол.

Ей удалось лишь второе и третье, и то частично. Внезапно отец, приняв её восклицание за прилив финальной страсти, взревел и забился часто-часто, вдавливаясь всем телом в эту чужую им женщину. Лёва ждал, молча наблюдая за голой отцовской спиной, боясь опустить глаза ниже, на то место, которым папа его, безутешный вдовец и строгий справедливый родитель, соединялся с этой отвратительной Темницкой. Прежде он не видел отца полностью обнажённым. Он и не думал, что на боках у папы за то время, пока умирала мать, набрались неприятные оладьи жира, обычно скрывааемые обязательно строгим костюмом и точно так же невидные под привычным домашним облачением свободного кроя. И что они будут так ужасно биться о его бока, влажно шлепаясь один о другой, висло стекая к низу живота и снова стягиваясь в бесформенные блины в момент отрыва папиного торса от мокрых, некрасиво разваленных в стороны тёткиных грудей. И от этого ему сделалось ещё противней. Ну а дальше тётка просто оттолкнула отца обеими руками и, нащупав одеяло, подтащила его под подбородок. Затем резко отпрянула в сторону, не в силах выговорить слов. Отец обернулся и увидел. И тоже прикрылся, лихорадочно обдумывая удобоваримую версию происходящего. Версия не находилась, отец не был к тому готов. Однако не встал. Лишь задержал рукой Темницкую, сделавшую попытку вскочить и поскорее убраться из спальни. Сказал, медленно подбирая слова:

– Ну, оскоминное выражение типа «это не то, о чём ты подумал», вероятно, будет излишним, да, сынок?

Мальчик мотнул головой и сглотнул.

– И всё это... – широким жестом руки отец обвёл часть пространства, вовлёкши в него край тела обнажённой Темницкой и завершив его на себе, – всё, чему ты случайно, насколько я понимаю, оказался свидетелем, тоже, надо думать, тебе не нравится, верно? – И посмотрел на сына прямо и тяжело. – Угадываю твоё чувство?

Лёва вновь мотнул так же и туда же. Паралич, охвативший его, всё ещё не вернул глотке способность выталкивать слова. Да и рано было выпускать из себя что-то: звуки, мысли, застывшие движения его никак не желали сливаться воедино, не складывались в контролируемую головой, последовательно выстроенную цепочку действий. Да и не знал он, какие действия надлежит совершать сыну, заставшему отца в кровати умершей матери в паре с чужой, неопратно мокрой и неприятно орущей тёткой. Он развернулся и вышел. Ушёл к себе. Отыскал завалявшийся в ящичке письменного стола ключ и запер за собой дверь, на два оборота. Минут через двадцать, проводив гостью и дав сыну время прийти в себя, отец деликатно стукнулся к нему и негромко произнёс из-за двери:

– Лев, я хочу поговорить.

За то время, пока там, за спаленной дверью, в пространстве его отца сворачивалась и подчищалась вся эта нечистая история, Лёва успел прикинуть несколько вариантов развития событий. Первый, как ему показалось, был самый верный, поскольку опирался на истинное чувство, которое взяли и раздавили отцовским ботинком. И ещё было до слёз обидно за маму. Он представил себе, что это не он, Лёва, а она, мама, зашла в их с папой спальню и раньше его увидела то, что обнаружил он, сын. И подумал, что сердце мамино наверняка бы не выдержало, сжалось бы сильно-сильно и больше не разжалось бы никогда, потому что отец предал не только любовь физическую, какая бывает между мужчиной и женщиной, он предал большее – само доверие, саму память, предал то представление о себе самом, какое всегда по отношению к нему испытывал его сын, полагая, что оба они всегда с одинаковой горечью вспоминают и думают о мёртвой маме. Теперь этого не стало, кончилось, и за это предательство нужно было отвечать. Бойкотом, холодным отстранением, формализацией отношений, реальной нелюбовью, отсутствием сыновьего уважения. Чем ещё?

Однако любое из перечисленного было слишком – это Лёва тоже хорошо понимал. Подобный подход тянул за собой полный сбой в надёжно отлаженном механизме семейного устройства, включая бытовые подробности и привычные удобства существования в едином

жизненном пространстве. И потому был Львом Алабиным отвергнут, хотя и не без сожаления. Оставалось не так уж много для восстановления погоды в доме. Имелся в виду вариант полного искупления отцом дичайшей вины перед ним и покойной мамой. В отсутствие же мамы – только перед ним, сыном, но в этом случае – по двойной ставке. Это придумалось не само, это просилось. И тогда он решил второму варианту, как единственно разумному, не противиться. Тем более что третий не просматривался вовсе. На всё про всё хватило тех самых двадцати минут, взятых отцом в качестве вынужденного тайм-аута, – тютюка в тютюку.

– Открой, пожалуйста, я знаю, что ты ужасно переживаешь. Нам надо поговорить, сынок, прямо сейчас, пока мы оба не наделали глупостей. – Папа сказал и ждал ответа.

Лёва с неохотой оторвал голову от подушки, отомкнул дверь ключом и вернулся на диван. Сидел, глядя в одну точку. Решение, вернее, подводка для мирного компромисса была почти готова, но требовалось не упустить верный момент, когда можно будет вернуть в разговор этот путёвый намёк, что он запланировал, пока дулся, найдя для него единственно правильные слова.

– Лёва, мне просто нужна была женщина, вот и всё, – медленно подбирая слова, выговорил отец, – как нужна она любому взрослому мужчине, – и после паузы добавил: – Свободному.

– Нужна не просто, а на маминой кровати? – отозвался сын и поджал губы.

Он сжался в комок, подтянув под себя ноги, и, напрягши слёзные железы, выдавил на поверхность глазных яблок первую плановую мокроту.

– Я не думал, что ты вернёшься, Лёвушка, – мягко отреагировал отец. – И ещё мне казалось, время прошло и я уже могу позволить себе проявить некоторую мужскую слабость. Или, быть может, силу, – сказал и потупился.

– А как же мама? – Лёва посмотрел ему в глаза и обхватил руками горло, крест-накрест. – Мама наша как? Ты уверен, папа, что её сейчас нет здесь, в нашем с тобой доме? – И отвернул голову.

Академик облизнул сухие губы, и Лёва краем глаза засёк, как у него едва заметно дёрнулось плечо. И сообразил, что пришло время переменить слабо влажное на мокрое по-настоящему. И заплакал – сильно, горько, почти навзрыд. Это оказалось вовсе не так трудно, как думалось поначалу. Просто нужно было сосредоточиться и резким напряжением мысли вспомнить, как умирала мама, верней, как он в первый раз увидел её неживой, вернувшись после тенниса. И как убивалась Параша, набирая трясущимся подагрическим пальцем служебный номер его отца, и как пальцы её постоянно не попадали в кнопки набора. Незадолго до того маму вернули из клиники домой как раково безнадежную и пожелавшую умереть дома, о чём знал лишь отец, нанявший на тот период Парашу для ухода с проживанием. Только уже потом, спустя какое-то время, Лёва узнал правду – что именно скрывал от него отец – и понял, насколько тяжело ему было не показывать вида. И как мучительно ему было наблюдать мамин уход, и как он, терзаясь от жалости и боли, разрывал на части собственное сердце, деля его между проблемным институтом, ничего не ведавшим сыном и умирающей на его глазах женой.

Всем этим Лёва также дополнил воображение, собрав воедино эмоции прошлые и настоящие, и потому всё получилось качественно, как надо, – слёзы, работая на задачу, брызнули из всех щелей.

– Мамы нет... – пробормотал отец, вконец расстроенный таким поворотом разговора, – но поверь, я всё время о ней вспоминаю, постоянно...

– И даже тётка эта, ну-у... как её, Темницкая, кажется, не помешала тебе, когда сиськами своими хлюпала у мамы на кровати и верещала, как резаная? – чеканя слова, выговорил сын, временно придавив слезы, и уставился на отца – глаза в глаза.

Это был хороший момент: пора было придать бессмысленному обмену репликами целевое направление, не упустив главное. Лёва и сказал, не упустил.

– Папа, мне плохо, честно, кроме того, у меня экзамены. Я не знаю ещё, как я их потяну, но понимаю, что уже устал. Мне нужно куда-нибудь уехать. Развеемся. Забыться, в конце концов. Ну, ты, я думаю, меня понимаешь.

– А экзамены, сынок, с ними-то как? – обеспокоенно встрепенулся отец.

И с тревогой в глазах посмотрел на убитого двойным горем сына.

– Не знаю теперь как, – с горечью отмахнулся младший и утёр рукавом глаза, – меня вот друзья зовут в Крым, на машине, у них своя «копейка», жигуль. Потом уже, наверное, не будет варианта поехать, чтобы забыть обо всем об этом, с ветерком...

Всё. В расчётной траектории, что он успел наспех соорудить, это была точка невозврата. Или-или. Иначе придётся думать над третьим вариантом, не пойми каким. Однако не пришлось. От этой внезапной перемены сюжета отец, заметно посветлевший лицом, лишь бодро пожал плечами и, как показалось ему, неожиданно для себя самого выдал:

– Лёвушка, так я знаю, что нам делать. – И встал. И снова сел. – Мы просто купим тебе машину, такую же «копейку» или даже другую какую-нибудь, получше той, что у твоего приятеля. У нас как раз запись идёт на этот год. Сдашь экзамены, получишь права и поедешь в свой любимый Крым. И девушку какую-нибудь с собой прихватишь, чтобы отвлечься от всех этих дел и хорошенько отдохнуть. – Он подсел на диван к сыну и, приобняв его, притянул к себе. – Ну что, Лёвушка, договорились?

Вот оно – состоялось!

– «Трёшку»...

– Что? – не понял академик. – Какую трёшку?

– «Трёшку» надо брать, жигуль третьей модели, она дороже не сильно, но зато движок там намного оборотистей, с «копейкой» ни в какое сравнение не идёт. – И, просительно заглянув в отцовские глаза, подвёл итог недавней семейной неприятности: – Синюю. Ты – как?

Через пару лет он разбил её – пьяный, весёлый, молодой! Напрочь, невозстановимо. Но уже было не так важно. К тому времени он начал зарабатывать на первый хлеб, высокой калорийности и сразу с маслом. И потому тут же, не дожидаясь ухода порядком уже изношенной и крепко битой «трёшки», взял секонд-хенд-бээмвуху, правда с чуть дымным движком, но уже не карбюраторную, а с настоящим тамошним инжектором. «Трёшку» после ремонта отдал не торгуясь, как вовремя выкинутую из сердца вещь, мысленно сравнив её с первой девушкой, удобной для извлечения первых же приятных знаний, но так и не сумевшей заинтересовать собой до конца. Особенно если сравнивать с прочими вариациями, тюнинговыми, что обильно появились на рынке, давая знать о себе причудливыми наворотами и прочими примочками. «Примерно как Кустодиев против Пикассо», – подумал тогда Лёвушка и потешился странности собственного сравнения.

Что до отношений с отцом, то вскоре они выровнялись и на первый взгляд уже ничем не отличались от прежних. Тётка эта, Темницкая, из поля зрения выпала совсем, хотя он, не обсуждая больше тему с отцом, в то же время предполагал, что связь между ними окончательно не прокисла и всё ещё помаленьку теплится, пуская остаточные одиночные пузыри. И тем не менее в прежнюю фазу отношения их с отцом, ранее такие доверительные, тёплые не по факту родства, но по существу имевшейся близости, так и не вернулись. И это знали оба. При этом каждый, стараясь охранить шаткое, хотя и равновесное состояние сторон, никак не обозначил получившегося размежевания: ни словом, ни поступком, ни слабым намёком, будто не имелось больше ни малейшего симптома для проявления такого взаимно неудобного и малоприятного чувства.

Нельзя сказать, что чёртова Лёвускина совесть – слабое всё же место, – обновившая себе в первые деловые годы статус, совсем уж уgomонилась, не мечась больше между Сциллой долга и Харибдой справедливости. Было у него, было ощущение душевного дискомфорта, пробиравало и подёргивало порой от мозжечка до слепого отростка, родя сомнения всякого рода.

Однако, поразмыслив, Алабин пришёл-таки к выводу, что не всё устроено однозначно, что даже истинное искусство, святое и неподкупное, часто находясь в пограничье, не умеет правильно отобрать для себя единственной дороги, отозваться слышным звучанием, убедить многих и многих в том, подлинно оно или же это не искусство вовсе. «Какая там совесть, ну при чём здесь она! Да взять хоть тот же „Чёрный квадрат“, – продолжал размышлять Лёва, уже нащупывая для себя верный выход из ментального тупика, – ведь по сути не имеет же ни верха, ни низа, он скорее не форма, он – черта, раздел между признанной человеком истиной жизни, отражением её реалий и признаваемым тем же самым человеком образцом душевного позёрства, больной неуёмной фантазией, примером внекультурного и, попросту говоря, дурного вкуса. Короче, предметники – против фигуративщиков, беспредметников Татлина, Малевича. Тут – кубизм, там – супрематизм, конструктивизм. И все целы, живы, здоровы, коли не в жизни, так в памяти: и трубы трубят, и цветы несут, и шампань в кишку вливают, и монографии строчить не устают, что о тех, что о других, всё так же тупя копы и ломая зубы о те же самые грабли».

Именно тогда пришла идея написать о спорной природе художественного воображения Казимира Малевича – что и осуществил он годами позже, вспомнив об этом в нужный момент и точно угадав с выбором подходящего издания. После чего и развернулась та знаменитая дискуссия в печати, добавившая автору имени, зависти и респекта.

Итак, о совести и сомнениях. Совесть успешно разрешилась, избавив Лёвин организм от бремени тех сомнений. И помог ей в том, как ни странно, абсурдист Малевич – своим «квадратным» участием в ходе важных в стратегическом плане раздумий начинающего искусствоведа о способах «жизни» и «жизненных» способах существования. Вообще, в принципе. Так вот, сюжет – всего лишь повод для художественного, для живописного высказывания, соглашался он с Малевичем и уже с самим собой. И вдогонку этой, объединённой с кумировой мысли додумывал уже собственную часть, задаваясь вопросом: возможно ли осмысление, принятие чистой формы, вовсе не связанной с предметным миром, совсем?

Он полистал тогда неспешно, кое-где прицельно задержав внимание, сборник статей по системно-векторной психологии, не пожалев для этого часть времени, отведённого на кафедральные и факультетские дела. И в результате не пожалел. Наткнулся-таки на то, чего искала душа и где помещались ответы на незаданные вопросы, которые прежде даже не формулировал для себя. И как ему показалось, разобрался. Справился сам с собой же.

Всё было так – и это устраивало его и многое объясняло. Малевич, как художник и человек, обладал Зрительным и Звуковым из верхних векторов, и Кожным и Анальным – из нижних. Он же, Лев Алабин, не будучи художником, но являясь человеком и искателем, обладает лишь вторым набором векторов – Кожным и Анальным. И вероятней всего, Анальные векторы одолевают в нём все остальные. И написал статью, в которой, мстя себе за своё же внехудожественное открытие, вывернул всё ровно наоборот, присвоив Малевичу статус бесполётного предметника, не *геометрически* абстрактного, а абстрактного, но *геометрического* абстракциониста, относительно воззрений которого на искусство как таковое у художественной общественности, как и у искусствоведческой науки в целом, имелись многолетние заблуждения. Он же, Лев Алабин, мягко развенчал их, вбросив неожиданную, оригинально выстроенную версию, обратную общепринятой.

Как ни странно, он невероятным образом угадал. Наука вздрогнула и призадумалась, художественный гламур был просто счастлив, желтобрюхие же, как, впрочем, всегда, ничего из публикации не поняли и потому, будучи в этом смысле и так надёжно заткнутыми, больше не разоткнулись, не пачкая Лёве биографию и не делая попыток втереться в доверие. Имя, вновь задержавшее на себе внимание художественной общественности, начинало работать и приносить искомые дивиденды. И это же самое имя, плод многолетней наработки, с учётом другой наиважнейшей составляющей – репутации, со временем вывело Льва Арсеньевича на

весьма крупных людей уже в качестве достойного посредника: на фигур и даже на целых рыбин, желающих иметь и вкладываться ещё и ещё.

Средства, свалившиеся за сытые и позорные годы на головы многих и многих, теперь уже шли на вложение в подлинники, в истинные произведения большого искусства, в детища «Сотбис» и «Кристис», и потому нуждались в проводнике, в советнике, в гиде. А стало быть, в нём, Лёве. И не только из-за прихоти привередливых и неуёмных супругов делалось такое, и не ради обрыднувшей им же господской забавы, но для пушей сохранности нажитого или же использования в иных годных делу вариантах.

Дело! Вот ключ, ставший пропуском в мир красивой упаковки, обретаемой уже не через вульгарный, сомнительным способом хапнутый чистоган, а вследствие умного, элегантно спроектированного и вполне легально реализованного бизнес-проекта.

Это уже глубоко нулевые шли, в противовес девяностым – умные, холодные, расчётливые. Кто хорошо поднялся, тот понижаться уже не планировал, неоднократно выверив избранную тропу на пути к дальнейшему подъёму и закрепившись на том месте канатом, прочней какого не бывает. Другие, менее удачливые, кто без мёртвой хватки и не того звериного чутья, отошли в тень, заметно подтаяв по пути. Одни разъехались на полупустой живот по дальним явкам и адресам, другие выкатились в загородный тираж, обратившись в тихую, никому не опасную обычность, или же просто канули в безадресную вечность, но только не в ту, о которой неизменно помышлял Лев Арсеньевич и до которой он так ещё и не добрался.

Мешали дела. Ему следовало спешить, как и прежде, – нужно было успевать многое и для многих. Он вновь был необходим. Им – первым, сильным, наглым, под жёстким седлом бодрым аллюром въехавшим в эпоху второго накопления, голодным до свежих ощущений, до новых горизонтов. Но чаще – вежливым и милым, сменившим тёлку на женщин, малиновые пиджаки на беспроектный смокинг, уже неплохо образованным, с продвинутыми детьми и дежурной парой беглых языков, малопьющим и всегда открытым для взаимности в поиске предмета новой очаровательной забавы или одноразовой надобности.

Нужен был он и другим, вторым и всем прочим, перегруженным весом избыточно хапнутого когда-то, но так и не скинутого вовремя культурного балласта.

Он был между. И он знал своё место. Всегда. Отчётливо сознавал, что девяностые необратимо иссякли, унеся с собой остатки общих запасов, откинув дурные и пижонские манеры, как и слабый замах на порядок, и некрепкие потуги на прекрасное. Исчезли, истаяли те агрессивные пошлые времена, когда гуляла ботва, сверкали стразы, пелся шансон, трепетно поглощался бургер и ни во что не ставились углеводороды.

Постепенно он разучился бандитскому языку, стал забывать о тёрках периода первого накопления. Медленно, но неуклонно порывал Лев Алабин с враньём грубым и более ненужным. И даже простое безобидное лукавство со временем переставало быть необходимым. Не то кормило теперь. Не это. Теперь важнее было другое – первых следовало вовремя свести со вторыми. Тех же, в свою очередь, грамотно разгрузить от бремени непосильных нош. Доля оговаривалась и редко когда не была приятной.

Он и сам в культурно-деловой среде всё больше становился брендом, не менее потребным, чем клеймо мастера или подпись художника. Он был лёгок, безупречно вежлив и практически всегда достижим, потому что не ленился и всё ещё шёл на разумный компромисс.

В тех же нулевых, ознакомившись со статьей за авторством Алабина, глубоко затрагивающей вопросы сентиментализма в творчестве Шагала, его призвали в «Сотбис», экспертом по разделу русского искусства, и он с благодарностью стал им, получив место в московском офисе всемирно известного аукционного дома и вписав добавок обретенного веса в свой культурный анамнез. Стал регулярно выезжать в Лондон, в английский филиал нью-йоркской штаб-квартиры, уже за счёт британской стороны. «Бонд-стрит – место встречи искусства и денег» – так

выразился однажды эксперт Алабин, и фраза прижилась, была оценена и сделалась крылатой. И сразу после фразы – удача, в 2008-м, кажется, при прямом его участии и кураторстве вопроса.

Итак, три рекорда цен в продажах русского искусства на «Сотбис»! Лёва долго вспоминал потом тот счастливый понедельник, когда впервые напрямую заработал, хоть и не сам, но заработавшим с той и другой стороны профессионально помог именно он. Так, как никому не удавалось до него. И всё же пастель Зинаиды Серебряковой «Откинувшаяся обнажённая» ушла с молотка, чуть-чуть не дотянув до пяти начальных цен. Также обновлены были рекорды на Михаила Клодта и Леонида Пастернака. Правда, топовые лоты тогда же едва достигли границы эстимейта², но зато самый дорогой лот русских продаж, работа «Натюрморт с фруктами» Натальи Гончаровой, ушёл с молотка за два миллиона фунтов стерлингов! Тогда же планку в миллион фунтов преодолели ещё три картины, и каждая не без его, алабинского, участия в подготовке и поиске предмета торга: «Пушкин и графиня Раевская на берегу моря возле Гурзуфа и Партенита» кисти Ивана Айвазовского, «Натюрморт с персиками и красными цветами» всё той же Гончаровой и «Вид с террасы, Гурзуф» любимейшего его Константина Коровина.

Потом он вспоминал, но уже не вспоминалось с нужной ясностью, кому же он всё-таки vaporил тогда те четыре фуфловых псевдокоровинских эскиза декораций, ценностно усиленных сгоревшим заживо реставратором-алкашом в подвале на Черкизовской: банку или какому-то купцу, тоже, вполне возможно, давно неживому. Этого – не помнил. Но зато долго не уходила из памяти та страшная картина, которую он застал, непланово зарулив на Черкизовку. В тот день был он неподалёку и решил оговорить с тем пьющим реставратором очередную работу. Дым заметил, ещё когда стоял у светофора на соседней улице. Тот вертикальным столбом уходил в небо, черня попутно балконы жилого здания, в котором располагалась мастерская. Уже в тот момент Алабина посетило нехорошее предчувствие, хотя повод к тому ещё не возник. Наоборот, предчувствие то никак не совпадало с отличным настроением, поскольку более чем удачно набиралась очередная группа в Брюгге, сплошь из голодных потребителей средневекового варева от кисти тамошних художественных мертвяков. С Себастьяном он уже переговорил по скайпу, предупредив, к чему приблизительно ему следует готовиться и каков объём предстоящего запроса. Тот, как всегда, не выказал дикой радости, как и не явил, впрочем, показного равнодушия. По обыкновению, был учтив, внимателен и пристрастен к деталям. И это Лёву устраивало более чем, поскольку даже слабой малостью Себастьян не напрягал ему голову в смысле любой непредсказуемости в общих делах.

Когда он въехал во двор и запарковался возле линии оцепления, там уже работали несколько пожарных подразделений. Центральный очаг возгорания был основательно залит пеной из пожарных рукавов, и налетевший слабый ветерок медленно доедал остатки чёрного дыма, уже почти целиком рассеявшегося, утратившего смертельный напор и недавнюю ещё столбовую силу. Народ вокруг ахал, качал головой и беззлобно матерился. Когда же из полностью выгоревшего подвального помещения стали выносить останки мужского тела, кто-то, обхватив руками голову, громко вскрикнул, а кто-то замер, не в состоянии отвести глаз от ужасной картины. Ноги того, кто ещё недавно был живым и даровитым художником-ремесленником, были сожжены до костей, и пока двое пожарных, что вытащили, всё ещё в огнезащитных комплектах, с закрытыми масками лицами, несли теперь бывшего человека в сторону труповозки, с ног трупа отрывались последние ошмётки жареной человеческой плоти. Остальное было прикрыто куском брезентовой ткани, но Алабин и так понял, кому принадлежат фрагменты тела. На левой ноге обгоревшего скелета, вплавившись в кость, всё ещё оставался шматок синего резинового кеда, какие его реставратор-копиист неснимаемо носил все годы, пока работал на Льва Арсеньевича.

² *Эстимейт* – предпродажная оценка стоимости вещи, выставяемой на аукцион, прогноз возможной цены. (Примеч. ред.)

«Допился, сволочь», – подумал Алабин больше с негодованием, чем с сожалением. Надо сказать, будучи в курсе особенностей жизни своего малонадёжного ассистента, к чему-то подобному он был готов всегда. Не ясно было лишь, когда и каким способом прервётся трудовая биография его многолетнего соратника по профделам. Вместе с тем по-человечески, конечно, способного терпилу-бедолагу было жаль. Как-то с год-полтора тому назад Лёва, находясь под заботливым влиянием выдержанного настоя с дымного острова Айла, прикинул так и сяк, мысленно прокрутив варианты навару в результате сотрудничества с черкизовским затворником. В итоге вышел на цифру, не просто немало удивившую его, а ещё и тронувшую голову самым приятным образом. Теперь же такое кончалось, и надо было думать о продолжателе дела покойника. С другой стороны, тогда же Лев Арсеньевич, наблюдая за печальной картиной расставания с этим миром не самого близкого ему человека, думал, что в каком-то смысле в эти минуты он прощается с иллюзиями, с частью выстроенных им надежд, в том числе опиравшихся и на того, кого увезла труповозка с замызганными номерными знаками. Был человек – и нет его. Лишь код, примета, символ неизвестно чего. Да и то неразборчиво.

Он вернулся к машине, завёлся и резко сдал назад, разворачиваясь. Этот его визит на Черкизовку стал последним. Он точно знал, что не станет интересоваться и прочим: похоронами, родственниками, поминками, где он, зная себя, не произнёс бы ни слова, даже если бы и попал в гущу траурных мероприятий. Они были нужны друг другу, хотя уже изначально считались чужими. Имелись контактные номера телефонов, было имя, имелось необходимое и достаточное умение соответствовать задаче и молчать, пока не спросят. А также иметь за это расчёт. Больше – ничего. Лёва вдруг поймал себя на мысли, что не знает, имел ли тот детей, мать, жену, или же в своей запущенке, чем-то даже удобной нанимателю, человек этот, носитель столь редкого мастерства, жил совершенно один, ни о чём таком не мечтая и никак не собираясь изменить свою жизнь. И главное – что никогда ранее Льва Алабина не интересовало, – бывал ли хотя бы иногда этот человек счастлив в редкие дни или же годá, хотя бы раз. Или это набившее оскомину выражение даже изначально не озадачивало его мозг, многолетне натруженный деланием работы для чужих, испытый сидением ниже уровня дворового асфальта, недобиравший дневного света и отзывчивого доброго слова. Или же то, что имел он, обслуживая Лёву и таких, как он, и являлось сутью его паскудной жизни и смыслом удивительного дара?

Всё постепенно спутывалось, смещаясь центрами и кренясь осями, обращаясь в мутное, но вполне съедобное варево из малонужных огрызков памяти, отходов воображения столь недавно ещё поразительных времён, из тех холстов, какие разворачивали перед ним и вновь сворачивали в никому и уже навсегда не нужные рулоны... Из бесчисленных мастерских, чердачных и подвальных, с адресами, с нарисованными на блокнотном листке схемами их поиска и засекреченным от остальных количеством ударов кулаком в обитую железным листом дверь – все эти картины-корзины-картоны-картонки и удавы-собачонки: акварели, масло, темпера, тушь, гуашь, коллаж, пейзаж, натюрморт, портрет, эскиз, набросок, фрагмент, панорама, сюжет, замысел, утрата, реставрация, то ли копия, то ли подлинник, то ли стоит денег, то ли задрана цена, то ли выдурит, то ли пролетит... Эти имена и эпохи, рисовальщики и живописцы, поддельщики и копиисты, попадалово и кидняк, угрозы и разоблачения, предъявы и возвраты... О, этот разнобойный антиквариат, эти шкапчики буль и бюро «Людовик», часы каминные золочёной бронзы и наручные «Вашерон Константин» начала девятнашки в корпусе из фуфлового золота... Эти бесчисленные пепельницы и подсвечники русского литья европейской формовки, а также екатерининское стекло, павловские стулья, мейсенский фарфор, ювелирка Фаберже и его же столовая посуда... О, эти капризные стили, эти бесконечно ревнивые художественные нравы, эти безудержные эпохи: романтическая, готика, Возрождение – Раннее, Высокое, Позднее, Северное... Эпоха Просвещения – барокко, классицизм, рококо, сентиментализм... Новейшее время – ампи́р, академизм, неоклассицизм, романтизм, реализм,

импрессионизм и, наконец, модерн с его фовизмом, кубизмом, сюрреализмом, символизмом, конструктивизмом... Ну и прочее, уже по большей части дешёвка и дрянь, дерьмо пустое и ненужное, от застойного советского фальшака до ещё более бессмысленного современного псевдохудожественного пустозвонства...

Иногда, перебирая в мозгу станции и остановки, отмеряемые краткими и не очень перегонами собственной жизни, Алабин догадывался, что думает-то он, в общем, не так. Не совсем так. Но так он жил и потому привык, приучил себя не размышлять иначе. И оттого башка, намертво отвердевшая внутренностью, ни разу не подсказала руке дёрнуть красненький стоп-кран или же попросту выпрыгнуть из скорого на полном ходу, выкинуться наружу, чтоб сменить состав, пересев на тот, что идёт поперечно выбранному направлению, или уж, на крайняк, приземлиться в обратный, истребовав нормальную человеческую плацкарту.

Но пока, если без рефлексий, – Лондон. Теперь уже было удобно вдвойне. Во-первых, бизнес-класс, что Лёва повышенно, не скрывая такого дела, любил, хотя каждый раз, когда приходилось летать за свой карман, чаще мялся, испытывая сомнения. В итоге предпочитал эконом, как все нормальные. Ну а во-вторых...

Во-вторых, имелось ещё одно направление в его многострадальной искусствоведческой судьбе, которое сам же он открыл и каковое мало-помногу несло устойчивую прибыль на всё той же культурно-обогачительной ниве. И это был Брюгге – пречуднейший и расчудесный Брюгге.

Но поначалу, ещё до этого бельгийского города, всё же был он, Лондон, снова и снова, его Лондон, тесный и неохватный, окутанный патиной многовековой истории и шокирующе ультрасовременный, – в ту пору лишь его собственный, поскольку каждый раз Алабин постигал его исключительно за свой счёт. Болтался по улочкам, впитывая, насколько получится, остатки рыцарского духа прошедших времён. В который раз вглядывался в величественные, наполненные привидениями старинные дома Большого Лондона. Непременно навещал и великолепный Вест-Энд с его искромётными спектаклями, после чего, если не валился от усталости, забредал в одну из узких улочек Сохо в поисках плотской утехы, где, по обыкновению, ставил галку, больше дежурную, нежели по существу истинно мужского дела. Там же, на острове его мечты, было и оно – манящее, зовущее, сцепленное с кишками и за кишки тянущее, – место, от которого Лев Арсеньевич никогда не уставал, сколько бы раз ни доводилось заново перепахивать ему его наделы и поля. Британский музей, воровски набитый артефактами, вывезенными со всего света, уникальными раритетами мистического Древнего Египта и Месопотамии, эллинистической Греции и Византии, прохладного европейского Средневековья и восторженного Возрождения. Вот ради чего приезжал и возвращался он в этот город вновь и вновь.

И всё же вырваться получалось не часто. Отвлекали лекции, подгоняли сроки публикаций, а ещё и отзывы, консультации, работа с аспирантами, выпуск общекафедральных работ. Это если откинуть ещё вечные тёрки с клиентами, мотание по городу от точки убыли до пункта промежуточной наживы и – далее по цепочке – к месту конечного наvara. Ну и извечное – текущую куплю-продажу-перекупку-перепродажу. Оттого и девки, если случались, то не родного изготовления, а всё больше лондонские, на выезде.

Так вот, Брюгге. Было удобно. Теперь он приурочивал деловые поездки по линии «Сот-бис» к вояжам в Брюгге – до или после завершения лондонской занятости. Что оттуда сюда, что наоборот – всего ничего: пронестись тоннелем под Ла-Маншем и добить малость посуху.

Надо сказать, было ради чего. В некотором смысле это был непаханный участок – по крайней мере, в те времена, когда он это дело разнюхал и уже начинал копать предметно. Ставку делал не на шедевры, поскольку в этом плане было уже на редкость чисто. Точней сказать, крепко почищено – до тошнотной неприязни к любым первооткрывателям. То есть относительно наличия высококультурной залежи открытие своё Алабин просто не рассматривал изначально. Живописные полотна старых мастеров, претендующие на то, чтобы рассматриваться

как близкие к шедеврам в силу самого письма или же путём доказанного имени, выгребли другие умники, ещё задолго до него. Впрочем, такое обстоятельство даже помогало, никак не мешая его конструктивно продуманным изысканиям. Можно было, конечно, если так уж напрячься и войти в зону нехорошего риска, слепить и иную конфигурацию. Скажем, разработать версию псевдошедевров и возить их на русские земли руками самих же доверчивых покупателей, использующих его, Лёвин, гайд и его оплаченный профсовет. Тем более что он и так организовал уже серию поездок в Брюгге, культурологического характера, собирая в дорогу полубогатеев из новых, научившихся хорошо считать, полагавших, что брать товар напрямую много выгодней, нежели переплачивать перекупщику-ловкачу. Тут же – спец, человек надёжный, с опытом и именем, с учёной степенью и доцентской должностью в главном заведении этого профиля. К тому же с официальной приближённостью к «Сотбис» и всеми прочими приятными делу атрибутами, потрохами и запятыми. И то верно, уж коли не тянешь на новый «мерс», так гони из Германии секонд-хенд. Сам же гони, не ходи в салон, где наверняка нагреют, а после лишь крякать будешь в скипочку да нервы себе жечь, когда движок накроется и масло подымит.

Идея эта пришла в голову после кухонной эпопеи, которую Лёва пережил, когда ближе к концу девяностых обзавёлся наконец собственной квартирой на углу Плотникового и Кривоарбатского. Кухню подобрал просто чудо, итальянской выделки, тёмно-синего колера, с матовым стеклом, тусклым хромом и краснодеревянными вставками. Хай-тек и всё такое. Да только потянула кухня та на двенадцать тыщ живых евро: равноценно, не к ночи сказано, паре-тройке холстов кисти неизвестного мастера, если брать на месте, в Европе, тянущих на век, скажем, девятнадцатый, типа того. Качество будет – никакой атрибуции не надо: задохнёшься уже от самого факта обретения работы где-то там на честной родине тамошнего художника, где не только холст – кирпич, под которым сделка пройдёт, страдать и стонать будет от такой потери, сыпля тебе на голову пыль далёких чужеземных веков. Плюс к тому убойная рама в качестве бонуса от некорыстливого продавца.

Этот мысленный текст в адрес культурно нацеленного туриста-обретателя как нельзя более кстати подвернулся в тот момент, когда Лев Арсеньевич, стоя у кассы фабричного офиса, расположенного где-то на окраине итальянской Равенны, оплачивал ту самую фабричную кухню. Но только уже напрямую: 2420 евро с учетом доставки до расчётной точки Москва-Грузовая. Одновременно с этим плюсовал сумму прямой оплаты с ценой растаможки, попутно закладывая туда же и взятку консультанту из московского салона кухонь, в котором прежняя сделка так и не состоялась, но где он же за небольшую мзду вызнал контакты итальянского изготовителя. Турпакет до Римини и обратно в несезон не стоил ничего. В итоге цифра на выходе получалась смешной, совсем.

Повесил он кухню ту. И сразу же подумал о Брюгге. И закрутилось. Но только на сей раз уже в другую сторону, в направлении художественного бизнеса для нужд вполне себе богатого среднего класса и так и не набравшей искомых оборотов нижней прослойки следующего по возрастанию социального слоя. В общем, некий культурный «Макдоналдс» с перспективой перехода к усреднённо-сетевому ресторану. Но без потери лица.

Они приезжали. Лев Арсеньевич встречал, подгадывая момент с собственным приездом из Лондона. Или же сопровождая покупателей из Москвы. Селил. Напутствовал, чтобы не смели по-французски: «Это вам не Франция, это Фландрия, господа, так что если вы по-голландски ни-ни, то уж лучше мне тогда доверьтесь, переведу, иначе поездка ваша пустой окажется, оскорбится человек наш, опечалится. Тут с этим строго, с национальным самосознанием и местной самобытностью».

Затем вёл к Себастьяну, местному бельгийцу, с которым зацепился по рекомендации хороших людей сразу по оформлению идеи. Дядьку этого знали и использовали многие, каждый крутя им так и сак во исполнение особого личного предназначения. Брюггелчанин был

мил, вполне образован и неизменно уступчив. К тому же выглядел и одет был так, словно, материализовавшись, только-только сошёл с автопортретной гравюры Уильяма Тёрнера. То ли чудачество такое, то ли принцип – не важно. Главное, работало. Об этом он с ним тоже договорился сразу, разрабатывая основные приёмы реализации непристроенной части художественной залежи чудесного города Брюгге. Ну и как водится, стукнули по рукам насчёт честных пятьдесят на пятьдесят от маржи. При этом оформление купчей и попутного, полностью ложного сертификата на приобретённые работы лежало целиком на Себастьяне. Тот каждый раз придавливал к сертификату печатку своей галереи, туда же вкручивал и затейливый крючок личной подписи и торжественно вручал документ будущему обладателю залежавшегося околохудожественного дерьмопала.

Каждый холст имел свою цену, точно так же, как заранее известны были обоим и пределы торга. Ну а всякая цена впоследствии имела своего покупателя. Но это было уже потом, после того как счастливый владелец кого-то из ремесленных «писарей», никому не ведомых, но все-непременно средневековых, типа взятого наугад любого Метренса, Якобса, де Смита, Виллема или Питерса, украшал стену в городской гостиной или каминную залу в хотьковском загородном доме. И все были довольны, потому как уже изначально всё в этом деле было честно и загранично, откуда ни посмотри, за исключением разве что малых, вполне невинных деталей.

Одни уезжали, счастливые. Других соотечественников, осчастливленных не меньше тех, Лёва, проявляя дополнительную заботу, отправлял в соседний городок Дамме, в место, где родился Тиль Уленшпигель. На прощание вручал русский буклетик, чтобы не тыркаться попусту, будучи на месте. Сам же отправлялся бродить по Брюгге. За последние годы, трудясь над устройством чужих судеб, он поднаторел в делах. Но вместе с тем не забывал и о прекрасном – куда ж без него?

Этот Брюгге, куда он частил не по сердцу, но вынужденно, сделался вскоре и его любовью. В смысле большого искусства ловить тут было нечего, особенно после Франции и Британии, но красоты своей и изящества город не утратил, обзаведясь ими в те же, как и прочие культурные гранды, далёкие времена.

Как правило, начинал с рыночной площади, где брал местную бричку, запряжённую нечеловечески статным конём пегого окраса, с бантиками в ушах и холёной сытой мордой. Затем делал многочасовой почётный круг победителя жизни, высматривая не виденное раньше. Люди смотрели на него и улыбались. И он улыбался им в ответ, так же честно и благородно. Далее следовал наезженным не раз маршрутом: площадь Бург, базилика Святой Крови Христовой. Последнее заведение, в отличие от остальных, было бесплатным, и потому он неизменно заходил внутрь, но не корысти ради, а токмо компенсируя недальновидность городского магистрата. Всегда оставлял власти щедрую евробанкноту, сложенную вчетверо и просунутую в щёлочку стеклянного кофра для сбора пожертвований. После жертвоприношения всё шло уже налегке, вполне себе привычно и шустро, без выхода из коляски и простоя в узкоулочных пробках. «Дом генуэзцев», сразу за ним – готическая церковь Богоматери с «Мадонной Брюгге», скульптурой из каррарского мрамора работы великого Микеланджело, и к финалу оборота – озеро Любви. Между точками культурного обзора успевал насладиться глаз и остальной частью вечной сказки, сложенной из переплетения каналов и стариннейших улиц, уютных площадей и современных магазинчиков, наполненных знаменитыми кружевами, бельгийскими шоколадом, высокопенным пивом и не спешащей никуда красивой молодёжью. Его не покидало ощущение сна: настолько всё подлинно, красочно, жизненно, ярко. Каждый поворот улицы или набережной всякий раз превосходил его новые ожидания. Эти по-прежнему уютные причалы, эти чумовые дома, встающие из живописных каналов, вдоль которых всё так же почти неслышно скользят гладкотельные моторки... Ну и маленькие уютные ресторанчики, горбатые мостики, непревзойдённая резьба по камню, статуи, ангелы, памятники. Миниатюрная старина, нежащаяся на незамерзающем зимнем солнце.

Последний вояж пришёлся на середину декабря. Этот визит в Брюгге стал наилучшим из всех предыдущих. Настроение было отменным. Отряд столичных добровольцев, высадившийся в этот раз на местную территорию, отоварился фламандскими «писарями» на сумму, часть которой в виде личной наживы Алабина составила около шестидесяти тысяч. В евро, разумеется. Таким образом, жизнь в очередной раз просигналила, что продолжает налаживаться, и не в последний раз. К тому же подкатывал Новый год, в канун которого Лёвушку поджидала круглая засада – сорокалетие. Он трепетно ждал этой суровой даты, чувствуя, что, пожалуй, ещё чуть-чуть – и всё, финал. Отныне он перестанет быть Лёвушкой или даже просто Лёвой, но зато окончательно сделается Львом Арсеньевичем, распечатав новый, свежий параграф своей неровной биографии. И пускай врагам его это не понравится, но так это или не так, он – Алабин! И потому – здравствуй, Лёва! Здравствуй, милый! Здравствуй, жопа Новый год!

Глава 4

Ева Александровна

«Каменным», ещё начиная со времён открытия музея, звался первый его этаж, и это было понятно: выставлялась там исключительно скульптура. Бронза, гипс, всё прочее не каменное также шло за камень, поскольку именовать таким образом этот «тяжёлый» этаж было удобно всем. Второй и третий уровни здания, отданные под живопись и графику, тоже имели свои исторически заведённые обозначения и звались «плоскими»: «первый плоский» и такой же «второй», по уже понятным причинам. Низ же, хранилища и запасники, извечно служили «могилой», по аналогии с верхним условным делением – «первый могильный» и опять же «второй». Имелся ещё и полуподвальный этаж, где не так много, но всё же хранилось, и по той же давно заведённой традиции он именовался «саркофагом».

Такое, принятое с начала Всесвятской эры обозначение подземных пространств возникло и укоренилось не только по причине их глубокого залегания относительно уровня городской земли. Главным в этом деле, определяющим казус, являлась абсолютная закрытость запасников на протяжении долгих лет существования музея под руководством Всесвятской. Ну не любила, не хотела, не позволяла вечная матрона от искусств, используя всевозможные предлоги, лишний раз допустить чьё-либо присутствие в святой Всесвятских святых. И даже хранителям, включая самых верных, многожды проверенных и лично ей наиболее преданных, опись и сверка всякий раз позволялась лишь согласно плану министерства, никак не чаще.

Годы шли, однако ничего в заведённом порядке не менялось. Благая цель – «не отдай ничего и никому, а при возможности и не покажи» – суровой значимостью своей и чистотой помысла явно одолевала статью «не убий» вкуче с остальными схожими, разработанными задолго до неё задачами. А тут – такое.

Однако пережили они тогда дичайшую выходку этой французской сучки на межгосударственном уровне – сдюжили, преодолели. Тем более что ни к назначенному часу, ни когда-либо вообще французская чета так и не явилась, обратив эти нечеловеческие усилия в пустой песок и лишний раз утвердив директрису в мысли, что лучшее место для шедевра – «могила». «Первая». А ещё лучше – «вторая», нижняя.

Прежде, до того французского аврала, сталкиваться лицом к лицу с распорядительницей подземных и прочих богатств Еве Ивановой не доводилось. Однако, случайно наткнувшись на неё в тот безумный день и робко поздоровавшись, она всё же успела немножко ощутить эту женщину, прощупать осторожным взглядом, незаметно повести рукой, чтобы коротко тронуть воздух, отлетевший от рукава её шерстянистого пиджака. В этот момент и почувствовала исходящий от той запах власти, безумную в одержимости своей устремлённость в вечность, ею же самой назначенную если не для себя, то уж точно для своих сокровищ. Она всё ещё испытывала неподкупную страсть к ним, оставаясь чуть более полувека носителем непререкаемого авторитета в области изящных искусств, неизменно числясь близким к власти и вполне патриотически ориентированным персонажем.

Нельзя сказать, что, случайно напоровшись в тот день на местную всесвятую, Ева Александровна отчасти пересмотрела своё отношение к людям, одержимо преданным делу. Она и сама, не хуже прочих, держала себя за человека мыслящего и порядочного – просто не случилось в её жизни ни закончить нормального ученья, ни занять место, достойное её трудолюбия или хотя бы половины ума. Жаль, не довелось и краткое свидание со Всесвятской продлить хотя бы на полминутки; в этом случае ей, возможно, отвалилось бы гораздо больше, чем та скупая картинка, известная каждому и так, без *знания*, не успевшая толком и возникнуть-то,

чтобы закрепиться в глазах и далее излиться в сущностное, полезное, наводящее незримый мост от одного объекта жизни к другому. Или – смерти.

А ещё вполне возможно, явился бы кто-то третий, из мира призраков и теней, и сделал бы Еве знак, как бывало раньше. Правда, для этого надобна цель, нужда, причина. Это не возникает просто так, по бездумной случайности, в силу слепой к тому охоты или же нелепой забавы. Она ведь так и не научилась надёжно отделять бесовское, сомнительное, в котором порой сама же подозревала свой удивительный дар провидца, поисковика, угадывателя человеческих слабостей от даренных ей природой способностей и сил, глупости и ума, характера и манер – то есть от дара Божьего, чистого, неподкупного, не столь стремительного, как иногда случалось, когда выскакивало перед глазами, словно черти сыпались горохом из всех дыр, торопя, заставляя поспешать, крича и тыкая не туда, куда надобно было всматриваться и думать, забивая глаза картинкой лживой и подлой, а голову – чуждым каким-то смыслом, не своим, не здравым, противным разуму, скользким, как уж, шатким, как безногий истукан. Да чего уж там – как сама она с палкой своей, отдельно от неё ходячей.

Если честно, хотелось всегда чистого, единственного, прозрачно доверительного сигнала из той дыры. Или даже напрямую, от самих небес. И чтобы ласкалась мысль твоя, от чего не устает мозг и не потеют руки, и всегда находится место состраданию, а не единственно догадке или же просто безучастно-холодной картинке, сооружённой по оголённому факту: мёртвый – живой, был – не был, мужик – баба, умрёт – выздоровеет, сам прыгнул – помогли, столкнули. И ещё куча всякого, не перечесать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.